

СВИДЕТЕЛЬ

A black and white photograph of a person sitting on a large, dark rock. The person is seen from the back, looking out into a dark, featureless void. The lighting is very low, highlighting the texture of the rock and the silhouette of the person.

МАРИНИН МАКСИМ

18+

Максим Маринин

Свидетель

<https://litres.ru/74078016>

SelfPub; 2026

Аннотация

Это не фантазия о супергерое. Это тяжелое исследование проклятия под названием «вечность».

Книга не о событиях, а о том, что остается после них: бесконечное одиночество, усталость и невозможность забыть.

Главный герой — Свидетель. Родившись в палеолите, он обречен жить вечно и помнить каждую секунду. Каждую смерть. Каждую потерю. Это история о том, как бессмертие становится бременем, память — пыткой, а попытки прижиться среди людей заканчиваются изгнанием и кострами.

Повествование отказывается от динамичного сюжета в пользу вязкой рефлексии. Главный «экшен» — диалог с собой и наблюдение за умиранием Вселенной, растянутое на квинтиллионы лет.

Для кого: Для ищущих не развлечения, а глубокую прозу о времени, одиночестве и цене памяти. Книгу вы будете не читать, а проживать вместе с героем. Всю его долгую жизнь.

Содержание

Глава 1: Первый раз	4
Глава 2: Клетка	36
Глава 3: Средневековье	47
Глава 4: Собеседники	65
Конец ознакомительного фрагмента.	124

Свидетель

Глава 1: Первый раз

Сначала была боль.

Не та боль, про которую говорят «как в первый раз». Это и был первый раз. Другой боли он не знал.

Он открыл глаза и увидел свет. Свет был везде. Он жёг. Он заставлял щуриться и прятать лицо в ладони. Но рук он ещё не знал. Он просто чувствовал, что там, куда он смотрит, — больно.

Потом пришёл звук.

Кто-то кричал рядом. Высоко, тонко, противно. Он не знал, что это «кто-то». Он не знал, что это «рядом». Он просто слышал, и звук ввинчивался в уши, как червяк в гнилое мясо.

Он захотел, чтобы это прекратилось.

Он не умел хотеть. Он не знал этого слова. Но внутри что-то сжалось и вытолкнуло из себя воздух.

— А-а-а-а!

Это был его голос. Он испугался. Звук, который он издал, был громче, чем тот, который его мучил. Он испугался себя.

Потом его подхватили.

Чьи-то руки. Много рук. Тёплые, скользкие, пахнущие

чем-то, что потом станет для него запахом крови, жизни, страха. Но сейчас это был просто запах. Новый. Чужой. Не его.

Его несли.

Мир качался. Свет то пропадал, то появлялся снова. Иногда становилось холодно — кожа покрывалась пупырышками, и он не понимал, что это, просто хотел, чтобы холод ушёл. Иногда становилось мокро — и мокрое тоже было противно, липло, мешало.

Он кричал.

Не от боли. Не от страха. Он просто не знал другого способа быть.

А потом его положили на что-то мягкое. Трава? Шкура? Он не знал. Он просто почувствовал, что перестал двигаться, и это было почти хорошо.

Рядом задвигались тени.

Он ещё не знал, что это люди. Что они — такие же, как он. Что у них есть глаза, руки, ноги. Он видел только пятна. Тёплые пятна, которые двигались, издавали звуки, пахли.

Одно из пятен наклонилось низко-низко.

В лицо ударило дыхание. Горячее, влажное, пахнущее тем, что он потом назовёт «молоко» и «мать».

Он замер.

Пятно смотрело на него. Две точки вверху пятна смотрели прямо в него. И в этих точках не было ничего, кроме такого же непонимания, как у него.

— У-у-у, — сказала пятно.

Он молчал. Он смотрел.

Пятно протянуло что-то к его лицу. Что-то тёплое, живое, шевелящееся. Палец. Он не знал этого слова.

Палец коснулся его щеки.

И в этот момент он понял, что он есть.

Не мозгом. Не мыслью. Просто вдруг стало ясно: вот это «я» — то, что внутри, которое чувствует прикосновение. А это — «не я» — то, что прикасается.

Граница провелась.

Он открыл рот и закричал снова. Но теперь это был другой крик. Крик существа, которое только что осознало, что оно отдельно.

Пятно отдёгнуло палец.

Потом засмеялось.

Это был первый звук в его жизни, который не пугал. Глухой, булькающий, тёплый. Как будто внутри пятна перекачивались камни, обросшие мхом.

Он перестал кричать.

Он смотрел на пятно. Пятно смотрело на него.

Вокруг двигались другие пятна. Они тоже издавали звуки. Громче, резче, быстрее. Потом одно из них принесло что-то и положило рядом. Запахло едой. Не той, что он знал внутри, а новой, снаружи.

Он не умел есть.

Пятно, которое смеялось, взяло эту еду, разжевало, вы-

плюнуло в пальцы и сунуло ему в рот.

Он поперхнулся. Выплюнул обратно. Заплакал.

Пятно засмеялось снова.

И так началась жизнь.

Он не помнит этого. Никто не помнит своего рождения.

Но если бы он помнил, он бы знал: мир не хотел его обидеть.

Мир просто был. И он просто был. И между ними не было

ничего, кроме прикосновения пальца к щеке.

Этот палец принадлежал той, кого он никогда не назовёт

«мама». Потому что этого слова ещё нет. Но она будет носить

его, кормить, защищать от холода и зверей, пока однажды не

упадёт и не встанет.

А он останется.

И будет помнить только одно: первый звук, который не

пугал, — это смех той, кто его родила.

Но сейчас этого ещё нет.

Сейчас есть только младенец, который лежит на шкуре,

смотрит в небо и не знает, что он — первый.

Просто первый.

Племя кочевало по краю леса и степи. Там, где можно

спрятаться от холода и увидеть добычу за полдня пути.

Ребёнок рос как все.

Сначала он просто лежал в связке шкур, которую матери

носили за спиной. Потом научился сидеть. Потом — ползать.

Потом — ходить, падая каждые три шага и тут же вставая

снова, будто кости у него были из гибких веток, а не из того

ломкого, что у других детей.

Другие дети падали — плакали. Он падал — вставал. Не потому, что был смелым. Просто слёзы приходили позже. Когда уже подуют на ушиб, поглядят, скажут "тпруа, тпруа" — тогда он мог вспомнить, что больно, и заплакать. Но сначала всегда была пауза. Секунда. Две. Взгляд в пустоту.

Мать думала: "Глуповатый. Не сразу понимает, что больно".

Она не знала, что он просто ждал. Сам не зная чего.

В племени его звали "Кумай". На языке тех лет это значило что-то среднее между "козлёнок" и "тот, кто встаёт". Потому что он вечно падал и вставал. На охоту его не брали — мал. Но в стойбище он был полезен: мог принести хвост, мог отогнать птицу от сушащегося мяса, мог сидеть с малышнёй, пока взрослые заняты.

Он болел.

Все дети болели. Кто-то умирал — таких было много. Кто-то выживал и становился взрослым. Кумай выживал всегда.

Однажды, когда ему было лет пять (по счёту зим, оставшихся на шкуре матери), в стойбище пришла лихорадка. Дети слегли один за другим. Трое умерли за две луны. Кумай лежал с ними рядом, дышал тяжело, глаза блестели, кожа горела.

Мать сидела над ним две ночи. На третью уснула.

Проснулась — он сидел у костра и жевал кость, которую грыз накануне.

— Ты как? — спросила она языком жестов и мычания.

Он посмотрел на неё. Пожал плечами. Показал на кость:
вкусно.

Она потрогала его лоб. Холодный. Потрогала шею, под мышками — сухо, ровно.

Другие дети ещё болели. Двое потом умерли. Он уже бе-гал.

Старейшина, старик с выбитым глазом, сказал тогда:

— Крепкий. Печень хорошая. Будет охотником.

Никто не подумал: "Странно". Просто повезло. Бывают такие — от природы живучие.

В другой раз, года через два, он упал в ручей. Ручей был мелкий, но холодный — только лёд сошёл. Дети играли на камнях, он поскользнулся, ушёл под воду с головой. Вынырнул через минуту, когда старший брат вытащил его за волосы.

Был синий. Дрожал. Зубы стучали.

Его завернули в шкуры, положили у костра. Он грелся, пил тёплый отвар из коры, кашлял. К вечеру кашель прошёл. К утру он уже просил есть.

Брат, который его вытащил, всё утро косился на него.

— Ты под водой долго был, — сказал он, когда остальные отошли.

— Ага.

— Я думал, ты утонул.

— Ага.

— А ты не утонул.

Кумай посмотрел на брата. Помолчал. Потом спросил:

— Есть хочешь?

И протянул кусок мяса.

Разговор закончился. Дети быстро забывают. Взрослые — тем более. У них нет времени думать о странностях, когда надо искать еду, не замёрзнуть и не попасть в лапы к сабле-зубу.

Когда ему исполнилось, по современным меркам, лет десять-двенадцать, он впервые поранился серьёзно.

Они учились разделывать тушу. Мальчишкам давали старые, тупые отщепы камня, учили резать сухожилия. Кто-то толкнул его под руку — он полоснул себя по ладони. Глубоко. До кости.

Кровь хлынула. Мальчишки заорали. Прибежали взрослые.

Мать зажала рану, присыпала толчёным углём, перетянула жилой. Два дня он ходил с замотанной рукой. На третий размотали — посмотреть, не началось ли гниение.

Рана затянулась. Будто неделя прошла, а не три дня.

Мать пощупала руку. Посмотрела на него. Он смотрел в ответ спокойно, без тени вины или страха.

— Быстро заживает, — сказала она.

— Ага.

— У тебя всегда быстро.

— Ага.

Она хотела спросить ещё что-то, но в этот момент закричали с края стойбища — пришли охотники, принесли мясо. Все побежали смотреть. Вопрос остался в воздухе, не заданный, не услышанный, не важный.

Так и рос.

Был как все: играл в охоту, учился кидать копье, помогал женщинам собирать коренья, таскал воду, дразнил младших, дрался со старшими. Никто не запомнил его особенным.

Кроме одной вещи: он никогда не плакал, когда было больно. Не хвастаясь этим — просто не плакал. Сжимал зубы, ждал. Боль уходила быстрее, чем у других. Он не знал почему. Просто привык, что у него так.

Иногда, когда никто не видел, он смотрел на свои руки. На шрамы, которые заживали за дни, а не за луны. На синяки, которые желтели и исчезали на глазах.

Он не думал: "Я особенный".

Он думал: "Почему у других не так?"

Но ответа не было. И он переставал думать. Жизнь не любит тех, кто долго думает. Жизнь любит тех, кто успевает увернуться от копья, найти съедобный корень и не замёрзнуть ночью.

Он успевал.

Пока что — успевал.

Ему шла пятнадцатая зима. По меркам племени — почти взрослый. Уже два года ходил с охотниками, уже не мальчик на подхвате, а равный. Убил своего первого сайгака, потом

второго, потом волка, который подобрался слишком близко к стойбищу. Уважали. Не за слово — за дело.

В то утро он встал рано. Костер ещё тлел, женщины возились у шкур, мужчины проверяли копья. Дым стелился низко, туман висел над рекой — будет жарко.

Старший охотник, Коршун (прозвище за зоркость), махнул рукой. Пятеро пошли за ним. Кумай — шестым.

Они выследили табун лошадей. Не тех, что потом, а диких, низкорослых, косматых. Мясо — хорошо, шкура — ещё лучше. Крались долго, по кругу, заходя с подветренной стороны.

Коршун показал знак: "Я — первый, Кумай — справа, остальные — замыкают".

Кумай кивнул. Сжал копьё с костяным наконечником. Сердце билось ровно — он уже не боялся перед охотой. Страх приходил потом, когда всё кончалось и можно было выдохнуть.

Они почти подобрались. Лошади паслись, не чуяли. Коршун уже поднял руку для броска...

Сзади хрустнула ветка.

Громко. По-дурацки. Кто-то из молодых наступил не туда. Лошади дёрнулись. Табун взорвался топотом и фырканием. Коршун выругался гортанно, зло. Охота срывалась.

— Добивай! — крикнул он тому, кто наступил, и рванул вперёд, пытаясь успеть хотя бы одну.

Все побежали.

Кумай побежал тоже.

Он не видел, что сзади, из кустов, поднялось нечто. Он слышал только топот копыт, крики своих, свист ветра в ушах.

Удар пришёл в спину.

Зверь — он даже не понял, какой, — обрушился на него всей тушей. Когти. Зубы. Запах гнилого мяса из пасти.

Кумай упал лицом в траву.

Первое, что он почувствовал, — рука перестала слушаться. Её просто не стало. Не боли — пустоты. Он попытался перевернуться, ударить, позвать...

Второй укус — в ногу. Ниже колена. Хруст, который он *услышал*, прежде чем почувствовал. Своя же кость.

Третий укус пришёлся в шею.

Тьма.

Охотники обернулись только через минуту.

Медведь. Не тот огромный, пещерный, но всё равно зверь, с которым не справиться впятером без подготовки. Он уже рвал Кумая — голову от тулова отделял, как волк рыбу.

Коршун закричал. Все закричали. Замахали копьями, застучали камнями.

Медведь поднял голову, рыкнул, брызгая кровью. Оценил: пятеро, злые, копыя. Не стоит. Рванул в сторону, ломая кусты.

Охотники подбежали к тому, что осталось.

Коршун смотрел и не верил. Парень, которого он сам учил

ставить силки, которого звал в свою тройку, которого... которого теперь нет. Совсем нет. Голова отдельно, руки отдельно, ноги...

— Надо забрать, — сказал кто-то сзади. — Похоронить.

— Нечего забирать, — ответил Коршун. Голос сел. — Зверь утащит. Волки придут. Пустое.

Они стояли. Молчали. Потом Коршун развернулся и пошёл прочь.

— В стойбище скажем — погиб.

Больше никто не оглянулся.

Три дня.

В племени плакали. Мать Кумая выла два дня, на третий замолчала и перестала есть. Старший брат ходил злой, искал, с кем подраться. Дети спрашивали, где Кумай, и им объясняли: ушёл к предкам, теперь там, за горизонтом, охотится на белых бизонов.

Никто не сомневался. Смерть была такой же частью жизни, как еда или сон.

А он всё это время лежал в лесу и умирал снова.

Не от ран — они затянулись в первые минуты. От холода. От голода. От зверей, которые приходили ночью и начинали грызть, пока он не открывал глаза и не смотрел на них.

Они убегали. Возвращались. Снова убегали.

Каждый раз, когда сердце останавливалось, начинался счёт.

Тридцать... двадцать девять... двадцать восемь...

Кости срастались. Кровь втягивалась обратно. Он открывал глаза, делал вдох — и через минуту снова проваливался в темноту, потому что тело не могло держаться без еды, без тепла, без жизни.

Сколько раз это повторилось — он не считал. Десять? Сто? Тысяча?

Он сбился на третьи сутки, когда понял, что уже не знает, который сейчас раз.

На четвёртый день пастушок, пасший коз возле стойбища, прибежал с криком.

— Там! Там!

Взрослые схватили копыя. Думали — зверь.

Из-за камней вышел Кумай.

Он был голый. Совсем. Ни шкуры, ни повязки, ни обуви. Кожа чистая, без единой царапины, будто только родился. Волосы всклокочены, в листьях и земле. Глаза дикие, бегущие, не понимающие.

Он остановился в двадцати шагах от стойбища и замер.

Первой закричала мать.

Она не обрадовалась. Она закричала так, как кричат, когда видят духа, вышедшего из леса. Заслонила собой младших детей, выставила руку вперёд, оберегающим жестом.

— Уйди! Уйди обратно! Ты мёртв!

Кумай смотрел на неё. Рот открыл, закрыл. Слов не было. Он не знал, что говорить. Он только что проснулся в лесу, голый, весь в земле, и ничего не помнил, кроме боли. А те-

перь мать кричит на него.

Коршун вышел вперёд. Он был старшим, ему решать.

— Ты... — начал он. — Мы видели. Медведь. Ты был мёртв.

Кумай посмотрел на свои руки. Целые. Пошевелил пальцами. Поднёс к шее — там, где был укус, гладкая кожа. Только если приглядеться — чуть светлее, чем вокруг.

— Я не знаю, — сказал он. Голос хриплый, будто год не говорил. — Я проснулся.

Тишина.

Кто-то из женщин всхлипнул. Кто-то из мужчин переступил с ноги на ногу, сжимая копьё. Дети смотрели во все глаза.

— Ты дух? — спросил Коршун прямо. В лоб. Так у них было принято: если что-то непонятно — спрашивай сразу.

Кумай покачал головой.

— Я Кумай. Я есть хочу.

И тут брат, тот самый, что вытаскивал его из ручья много лет назад, шагнул вперёд.

— Пустите. Я проверю.

Он подошёл к Кумаю. Взял за плечо. Плечо было тёплое, живое, чуть дрожало. Брат потрогал его лицо, шею, заглянул в глаза. Глаза смотрели в ответ — устало, мутно, но по-человечески.

— Это он, — сказал брат. — Не дух. Просто... живой.

Мать всхлипнула снова, но уже по-другому. Шагнула впе-

рѣд. Остановилась. Ещё шаг. Потом побежала и обхватила его, трясясь и плача, и била его по спине кулаками, и прижимала к себе.

— Глупый! Глупый! Мёртвый! Живой! Глупый!

Кумай стоял, не двигаясь. Потом медленно поднял руку и положил ей на голову.

— Я здесь, — сказал он.

Вечером у костра его расспрашивали. Он не мог ничего объяснить. Помнил удар, потом тьму, потом боль. Не боль от ран — другую. Всюду. Как будто его выворачивали наизнанку и собирали обратно. Потом свет, он лежит в лесу голый, вокруг — его кровь и куски мяса, но не его. Чьи-то. Он не знает чьи.

Охотники переглянулись. Те двое, что были с Коршуном, клялись: он был мёртв. Голова отдельно. Руки отдельно. Это не могло быть ошибкой.

Но он сидел здесь. Ел мясо. Кашлял от дыма. Чесал укусы комара на руке.

Коршун долго молчал. Потом встал, подошёл, сел рядом.

— Завтра пойдём со мной, — сказал он. — На охоту.

— Хорошо, — ответил Кумай.

— Если ты дух — ты убьёшь меня. Если ты человек — будешь убивать зверя.

Кумай посмотрел на него. Кивнул.

— Я человек.

— Посмотрим.

Никто не спал в ту ночь. А если спал — видел сны про мёртвых, которые возвращаются.

С этого дня его перестали звать Кумай. Старики, посоветовавшись, дали новое имя. То, которое он пронесёт через тысячелетия.

Имя значило: "Тот, кто уже был мёртв".

Но вслух его почти не произносили.

Просто смотрели иначе.

Он вернулся.

Первые луны его боялись. Дети прятались за матерей, когда он проходил мимо. Женщины отворачивались, шептались. Мужчины на охоте держались на расстоянии, не брали в тройку, не доверяли спине.

Он не обижался. Он понимал.

Он и сам себя боялся.

Ночью он часто просыпался от собственного крика. Ему снилась тьма, боль, а потом — пустота. Он не знал, что там, за смертью. Он знал только, что оттуда *вернулся*. А это само по себе было страшнее любого зверя.

Мать не боялась.

Она первая перестала отводить глаза. Первая позвала его есть, когда другие молчали. Первая села рядом у костра, хотя все смотрели.

— Не смотри на них, — сказала она однажды. — Они глупые. Боятся того, чего не понимают.

— Я сам не понимаю, — ответил он.

— А ты не понимай. Ты живи.

Он жил.

Прошла зима. Потом ещё одна.

Мамонты ушли на север — стало теплее, им не нравилось.

Племя охотилось на оленей, собирало коренья, ловило рыбу.

Жизнь текла, как вода в реке: медленно, неостановимо.

К нему привыкли.

Не то чтобы полюбили — привыкли. Он был хорошим охотником. Сильным, быстрым, выносливым. Если зверь ранил кого-то, он мог оттащить раненого на себе за полдня пути. Если на стойбище нападали — он дрался, не прячась. Его копыё всегда летело точно.

Но когда он умирал? Этого никто не видел больше.

Он сам избегал смерти. Не потому что боялся — потому что знал, что будет потом. Те 60 секунд, когда мир становится слишком громким, слишком ярким, слишком *ломким*. Он не хотел этого снова.

Он научился уворачиваться. Научился падать так, чтобы не ломать кости. Научился терпеть боль, не теряя сознание.

Иногда, когда он возвращался с охоты с царапинами, которые затягивались к утру, кто-то косился. Но вслух не говорили. Старики, посоветовавшись, сказали: "Он есть он. Не трогайте. Может, духи за него".

Духи — это было удобное объяснение. Всё, что нельзя понять, можно списать на духов.

Он стал "тем, кого духи любят". Или "тем, кого духи не

берут". В разное время говорили по-разному.

Имя "Тот, кто уже был мёртв" не использовали. Слишком длинное, слишком страшное. Для повседневной жизни оставили просто "Кумай". Но теперь это имя звучало иначе. С уважением. С осторожностью. С дистанцией.

Мать старела.

Он замечал это каждый день. Вот она подняла тук с мясом — и охнула, придержала спину. Вот она сидит у костра и дремлет, хотя раньше могла не спать двое суток. Вот она смотрит на него и улыбается, но в глазах что-то другое. Не грусть — знание.

Однажды она сказала:

— Ты всё такой же.

— Ага.

— А я уже нет.

Он молчал. Не знал, что ответить.

Она погладила его по щеке. Рука была сухая, тёплая, с выступающими венами.

— Ничего, — сказала она. — Так и должно быть.

Он не верил, что "так должно быть". Но спорить не умел.

В тот год олени пришли поздно. Племя голодало. Не сильно, но постоянно: пустые животы, вялые дети, злые мужчины.

Он уходил на охоту один. Уходил далеко, на два-три дня, возвращался с мясом. Никто не спрашивал, как ему это удаётся. Просто брали мясо и ели.

Мать смотрела на него и молчала. Иногда по ночам, когда никто не видел, она подходила к его лежанке, поправляла шкуру, сидела рядом. Дышала.

Он притворялся спящим. Чтобы она могла посидеть.

Потом она слегла.

И всё, что было потом, он запомнил навсегда.

Но до этого была жизнь. Простая, тягучая, похожая на жевание старого мяса. Годы, когда он учился быть тем, кого боются, но принимают. Годы, когда мать ещё была рядом.

Годы, когда он ещё не знал, что такое *терять навсегда*.

Теперь знает.

Мать старела.

Он замечал это не сразу — как замечают, что камень в ручье стал круглее. Вроде тот же, а приглядишься — вода сточила край.

Сначала это были волосы. Из чёрных, как смоль, стали серыми, как зола у костра. Потом спина. Раньше она ходила прямо, несла на себе тюки с мясом, шкуры, младших детей. Теперь горбилась, будто всё время искала что-то под ногами.

Он видел, но не понимал.

Он сам не менялся. Всё такой же. Всё так же мог бежать за сайгаком, всё так же падал и вставал, всё так же заживал за дни. А мать — мать стала другой.

Однажды зимой она слегла.

Простуда. Кашель. Жар. Для других — обычное дело, кто-то выживает, кто-то нет. Для него — впервые.

Он сидел рядом. Менял шкуры, когда они промокали от пота. Подносил воду. Грел руки у костра и прикладывал ей ко лбу — она говорила, так легче.

— Ты не спишь? — спросила она шёпотом. Ночью. В стойбище все спали, только ветер выл за шкурами.

— Нет.

— Посиди.

Он сел ближе. Взял её руку. Рука была сухая, горячая, кости прощупывались сквозь кожу.

— Ты вырос, — сказала она. — Большой. Охотник.

— Ага.

— Я помню, как ты родился. Кричал громко. Все говорили — будет сильным.

Он молчал.

— Ты сильный. Я знаю.

Она замолчала надолго. Он думал — уснула. Но она заговорила снова:

— Ты не такой, как все.

Он замер.

— Я давно знаю. Ещё когда ты у ручья... когда болел... когда медведь. Ты не такой.

Он не знал, что сказать. Врать он не умел.

— Я не знаю, почему, — сказал он тихо.

— А я и не спрашиваю. Ты мой. Какой есть — мой.

Она сжала его пальцы. Силы почти не было, но он почувствовал.

— Ты долго будешь жить, — сказала она. Это был не вопрос. — Я хочу, чтобы ты знал... это ничего. Что я уйду. Все уходят.

— Не уходи, — сказал он. Впервые в жизни попросил. Не потребовал. Не взял. Попросил.

Она улыбнулась. В темноте он не видел, но почувствовал — рука дрогнула.

— Глупый.

Утром она не проснулась.

Он сидел рядом, держал её руку, пока та не стала холодной совсем. Потом пришли женщины, начали обмывать тело, готовить к погребению. Его отодвинули. Он дал.

На похоронах он стоял молча. Брат плакал. Сестры выли. Старейшина говорил слова про предков, про охотничьи угодья за горизонтом, про то, что она была хорошей женщиной, родила пятерых, вырастила троих.

Он слушал и смотрел на её лицо. Оно стало спокойным. Морщины разгладились. Она выглядела моложе, чем в последние годы.

— Она не страдала, — сказал кто-то рядом. — Ушла во сне. Хорошая смерть.

Он кивнул.

Хорошая смерть.

Ему почему-то стало обидно. За неё? За себя? Он не понял. Просто внутри что-то сжалось и не отпускало.

После похорон он ушёл в лес.

Просто пошёл. Без копья, без еды, без цели. Шёл, пока не кончились силы, потом сел под деревом и сидел.

Он не плакал. Он вообще редко плакал. Но внутри было пусто. Не больно — пусто. Как будто часть его, о которой он не знал, отрезали и унесли.

— Ты где теперь? — спросил он вслух.

Никто не ответил.

Он сидел до темноты. Потом встал и пошёл обратно. В стойбище горел костёр, пахло едой, кто-то смеялся. Жизнь шла.

Он вошёл в круг света, сел на своё место. Брат протянул ему кусок мяса. Он взял. Стал жевать.

Мясо было безвкусным.

Он жевал и смотрел на огонь. Внутри всё так же пусто.

Но он знал одно: она сказала, что он будет долго жить. И он будет. Потому что она так сказала. Потому что это единственное, что он может для неё сделать.

— Жить.

Ночью ему приснилась она.

Молодая, как в его детстве. Смеётся. Протягивает руку.

— Ты как? — спрашивает.

— Нормально.

— Ешь хорошо?

— Ага.

— Не болей.

— Ага.

Она кивает. Поворачивается и уходит в туман.

Он просыпается. Лежит, смотрит в потолок из шкур. За стеной воет ветер.

— Я буду, — говорит он тихо.

И больше не плачет.

Никогда.

Он не считал годы. Ветер считал за него. В палеолите ветер пах лесом, зверем, дымом костров. Он дул с севера — приносил холод и мамонтов. С юга — тепло и сайгаков. Он знал ветер, как знал свои руки.

Потом ветер изменился.

Сначала он не понял — просто заметил, что охотники стали реже погибать. Потому что реже охотились. Они начали сидеть. Женщины копали землю, мужчины строили загородки, а ветер всё дул, но пах теперь иначе — пылью, навозом, потом согнутых спин.

Однажды он поймал себя на мысли, что не помнит, когда в последний раз нюхал ветер. Просто дышал, и всё.

Времена менялись.

Он замечал это по мелочам. Раньше, когда он был мальчишкой, охотники уходили за зверем и могли не вернуться. Теперь люди стали реже погибать на охоте. Потому что меньше охотились.

Они начали *сидеть*.

Он впервые увидел это, когда одно из стойбищ, мимо которого он проходил, не снялось через луну. Они всё ещё бы-

ли там. Женщины копали землю палками, сыпали в неё какие-то зёрна. Мужчины строили загородки для коз.

— Вы чего? — спросил он.

— Еду растим, — ответили ему. — Так проще.

Проще.

Он посмотрел на их руки, вечно в земле, на спины, согнутые над грядками, на детей, которые никогда не видели охоты на мамонта. Им было проще.

Ему — нет.

Он уходил.

Всё чаще он уходил от тех мест, где люди оседали. Ему было душно среди их загонов и ям с зерном. Ему не нравилось, что они смотрят на него и видят не охотника, а *лишнего*.

— Ты откуда? — спрашивали в новых деревнях.

— С той стороны, — он махал рукой в сторону леса.

— А где твой дом?

— Нет дома.

— А родня?

— Нет родни.

Люди переглядывались. Человек без дома, без рода, без земли — это было подозрительно. В палеолите таких не было — там либо ты в племени, либо ты мёртв. А тут появились *чужие*.

Он стал одним из первых чужих.

Однажды он задержался в одной деревне дольше обычного.

Там была женщина. Не старая, не молодая — просто та, с которой можно было сидеть у костра молча. У неё умер муж, она жила одна, косилась на него, но не гнала.

Он помогал ей носить воду, чинить загородку, таскать дрова. Дети его сначала боялись, потом привыкли. Потом даже стали звать "дядя".

Он думал: может, здесь?

Он почти решил остаться.

Но однажды пришли другие люди. Из соседней деревни. Сказали: "Мы строим стену вокруг всех домов. Будем вместе. Кто с нами — тот свой. Кто не с нами — тот чужой".

Он посмотрел на женщину. Она отвела глаза.

— Ты не наш, — сказала она тихо. — Ты сам знаешь. Ты оттуда, из леса. У тебя нет здесь корней.

Он не спорил.

Утром он ушёл. Дети махали ему руками, пока он не скрылся за холмом.

Больше он не вернулся.

Мир сжимался.

Раньше можно было идти бесконечно — леса, степи, горы. Теперь везде были *они*. Люди. С их полями, с их заборами, с их вопросами.

Он шёл туда, где людей меньше. В горы, в леса, в болота. Но люди настигали.

Они приходили и там. Рубили лес, осушали болота, строили свои стены. И каждый раз, когда они его находили, на-

чинались вопросы.

— Ты кто?

— Откуда?

— Почему один?

— Почему не стареешь?

Последний вопрос появлялся не сразу. Сначала они не замечали. Потом кто-нибудь из стариков говорил: "Я помню его, когда сам мальчишкой был. Он тогда так же выглядел".

И всё начиналось заново.

Он научился уходить до того, как появлялись вопросы.

Он приходил в деревню, жил там немного, помогал чем мог, а когда кто-то начинал слишком пристально смотреть — исчезал. Ночью. Без прощаний.

Он стал тенью. Тем, о ком говорят: "Был тут один... странный... а потом пропал".

В некоторых местах его запоминали как доброго духа. В других — как злого. Иногда он приносил мясо голодающим. Иногда его прогоняли камнями, даже не спросив имени.

Он не злился.

Он просто шёл дальше.

Однажды, когда он сидел на склоне холма и смотрел на деревню внизу, к нему подошёл мальчишка. Лет десяти. Пастух, потерявший козу.

— Ты кто? — спросил мальчик.

— Никто.

— А чего сидишь?

— Смотрю.

Мальчик постоял, посмотрел туда же, вниз. Потом сказал:

— Ты тот, который всегда уходит?

Он повернулся. Посмотрел на мальчика внимательно.

— Откуда ты знаешь?

— Бабка говорила. Она тебя видела, когда маленькая была. Сказала: есть такой человек, ходит везде, нигде не остаётся. Она думала, ты уже умер. А ты тут.

Он молчал долго. Потом спросил:

— Бабка твоя... она как?

— Умерла. Давно.

Он кивнул. Отвернулся.

Мальчик постоял ещё, потом убежал искать козу.

А он остался сидеть. Смотрел на деревню, где жили люди, у которых были дома, поля, могилы предков. Где у каждого было место.

У него места не было.

И он понял вдруг, что уже не помнит, когда в последний раз *хотел* иметь место. Наверное, тогда, когда мать была жива. А теперь... теперь есть только дорога.

Он встал и пошёл дальше.

Первые деревни были маленькие. Десять-пятнадцать домов, сложенных из глины и камня, крытых тростником. Вокруг — поля, загоны для скота, ямы для зерна. Люди жили тесно, каждый знал каждого, чужих не любили.

Он научился подходить не сразу.

Сначала он просто сидел на холмах, смотрел, изучал. Запоминал, кто вожак, кто злой, кто добрее. Ждал, когда случится что-то, где он сможет помочь, не напугав.

Помощь приходила разная.

Первый раз — волки.

Деревня стояла у леса. Волки резали скот. Мужчины выходили с копьями, но волки были хитрые, уходили, возвращались снова. Люди устали, злились, боялись за детей.

Он пришёл ночью.

Не в деревню — к лесу. Лёг на тропу, где волки ходили. Ждал.

Когда они пришли — трое, крупные, голодные, — он встал. Не напал. Просто стоял и смотрел. Волки замерли. Чували человека, но что-то было не так. Он не пах страхом. Он вообще пах странно — мёртвым и живым сразу.

Вожак зарычал. Он не двинулся.

Так они стояли долго. Потом волки ушли. Не убежали — ушли, будто решили: с этим связываться не стоит.

Он приходил на тропу каждую ночь семь ночей. Волки не возвращались.

Утром восьмого дня он вошёл в деревню. Мужчины схватились за копья. Он поднял пустые руки.

— Волков больше нет, — сказал он. — Я спать хочу.

Они не поверили. Но он лёг прямо у входа, свернулся калачиком и закрыл глаза. Спал до вечера.

Проснулся — над ним стояла старуха. Смотрела долго, по-

том плюнула себе под ноги и ушла. А вечером ему вынесли миску похлёбки.

Никто не сказал "спасибо". Но и не прогнали.

Он прожил в той деревне две луны. Помогал таскать тяжёлое, чинил заборы, уходил в лес за дровами — и всегда возвращался. Дети перестали прятаться. Женщины перестали плевать через плечо, когда он проходил мимо.

Потом однажды утром его нашли у костра мёртвым.

Ну, почти мёртвым.

Он сидел, свесив голову, не дышал, рука была холодная. Кто-то закричал. Сбежались люди. Стали трогать, трясти, причитать.

Через пять минут он открыл глаза.

— Я тут, — сказал он хрипло. — Чего шумите?

Люди отшатнулись. Кто-то побежал за старейшиной. Старейшина пришёл, посмотрел, долго молчал.

— Ты мёртвый был? — спросил наконец.

— Не знаю. Спал, наверное.

— Ты не дышал.

Он пожал плечами. Не знал, что сказать.

В ту ночь у костра говорили только об этом. Утром к нему подошёл старший сын старейшины.

— Уходи, — сказал он. Не зло, но твёрдо. — Ты не такой, как мы. Ты хороший, но не такой. Уходи.

Он не спорил. Собрался и ушёл.

На краю деревни его догнала девочка, та самая, что пер-

вой перестала его бояться. Протянула лепёшку, завёрнутую в лист.

— На, — сказала. — Там дорога долгая.

Он взял. Хотел погладить по голове, но она уже убежала.

Больше он в ту деревню не возвращался.

Второй раз — засуха.

Деревня стояла у реки, но река обмелела. Люди носили воду издалека, по очереди. Старики и дети слабели. Урожай сох на корню.

Он пришёл, когда солнце стояло в зените, и лёг в тени у стены. Лежал, смотрел, как женщины таскают воду.

На третий день он встал и пошёл к реке. Не туда, где брали воду, а выше по течению. Прошёл полдня, нашёл место, где река уходила под землю. Вернулся, взял топор — свой, старый, ещё с палеолита, — и начал долбить землю.

Люди смотрели. Думали, спятил.

Он долбил три дня. Пробил камень, нашёл воду. Не ручей — сочилась по капле, но сочилась. Потом расширил проход — вода пошла сильнее.

К концу луны у деревни был новый источник.

Его звали "Тот-кто-пробил-землю". Впервые за много лет его позвали на совет. Дали миску лучшей еды. Разрешили спать в доме.

Он прожил там почти год.

А потом пришла болезнь.

Не та, что убивает быстро, — та, что валит всех подряд.

Лихорадка, слабость, понос. Люди умирали один за другим. Он носил воду, кормил тех, кто не мог встать, хоронил мёртвых.

Он не болел.

Сначала никто не замечал. Потом кто-то сказал: "А почему ты не болеешь?".

Он не знал. Просто не болел.

Выздоровливающие смотрели на него с благодарностью. Те, кто ещё болел, — с надеждой. Но те, кто уже похоронил своих, — с подозрением.

— Почему ты жив, когда наши дети мрут?

Он не знал, что ответить.

После болезни, когда людей осталось меньше половины, старейшина (новый, старый умер) сказал ему:

— Ты приносишь удачу и беду. Мы не знаем, чего в тебе больше. Уходи, пока мы не решили, что беды больше.

Он ушёл.

На краю деревни никто не догнал его с лепёшкой.

Третий раз, четвёртый, десятый.

Он перестал считать деревни. Их становилось всё больше, они стояли всё ближе друг к другу, но для него это ничего не меняло.

Везде одно и то же.

Он приходил. Помогал. Его терпели. Потом что-то случилось — болезнь, смерть, случайность, — и люди начинали смотреть косо. Потом его просили уйти.

Иногда просили вежливо. Иногда гнали камнями. Иногда пытались убить.

Он не сопротивлялся. Когда гнали камнями — уходил. Когда пытались убить — давал себя убить, а через полчаса вставал и уходил. Те, кто пытался, после этого сходили с ума или начинали молиться. И то и другое было одинаково бесполезно.

Однажды, после особенно неудачной попытки "прижить-ся", он сидел в лесу, прислонившись к дереву, и смотрел на свою руку. На ней была свежая рана — от камня, которым его проводили. Рана затягивалась на глазах.

— Что ты такое? — спросил он себя вслух.

Лес молчал.

— Зачем ты так?

Лес молчал.

Он закрыл глаза. Вспомнил мать. Её руку на своей щеке. Её голос: "Ты не такой, как все. Ты мой. Какой есть — мой".

— Я есть, — сказал он тихо. — Просто есть.

Он встал и пошёл дальше.

К концу неолита, когда первые города начали обрастать стенами, а люди — делиться на царей и рабов, он уже знал одно правило:

Можно помогать. Можно быть полезным. Можно даже стать почти своим. Но рано или поздно они увидят, что ты не такой. И попросят уйти.

Иногда — вежливо.

Иногда — камнями.

Но всегда — уйти.

Он не злился. Он понимал. Они боялись. А страх сильнее благодарности.

Он не знал, как попал сюда.

Была дорога. Были горы. Потом люди в железных шлемах, которых раньше не видел. Они окружили его, что-то кричали на непонятном языке, тыкали копьями. Он не сопротивлялся — зачем? Они бы убили его, он бы встал, они бы сошли с ума. Всё как всегда.

Но они не убили.

Они надели на него железо. На руки, на ноги, на шею. Тяжёлое, холодное, непривычное. Раньше его связывали жилами и кожей — это он рвал. Железо было другим. Оно не рвалось, оно только натирало кожу до крови.

Он шёл, куда веди. Кормили раз в день. Били, если медлил. Он терпел.

Глава 2: Клетка

Так он попал в Рим.

Город был огромен. Он не видел ничего подобного. Каменные стены выше самых высоких деревьев. Люди толпами, как муравьи. Шум, вонь, крики, смех. Его везли в клетке, как зверя, и люди глазели, тыкали пальцами, бросали камнями.

Он сидел, сжавшись в углу, и молчал.

В палеолите его боялись. В неолите его терпели и изгоняли. Здесь его *рассматривали*. Как диковинку. Как зверя. Как вещь.

Хозяин, толстый человек с блестящим потом лицом, долго его шупал. Заглядывал в рот, как лошади. Мял мышцы. Спрашивал что-то у переводчика.

— Говорит, ты не стареешь, — перевёл переводчик, тощий грек с бегающими глазами. — Говорит, покажешь на арене — будешь жить хорошо. Сдохнешь — ну, сдохнешь.

Он посмотрел на хозяина. Потом на переводчика.

— Я буду жить хорошо, — сказал он тихо. — И после смерти тоже.

Переводчик побледнел. Хозяин ничего не понял, засмеялся, хлопнул его по плечу.

Так он стал гладиатором.

Не по своей воле. Просто так сложилось.

Первые бои он проигрывал. Нарочно. Он не хотел убивать. Он уворачивался, падал, прятался за щит. Толпа выла от негодования. Хозяин плевался.

— Ты чего? — орал переводчик. — Дерись! Тебя за этим купили!

— Я не хочу убивать, — отвечал он.

— Ты хочешь, чтобы тебя убили?

Он молчал. Это был сложный вопрос.

Его убили на третьем бою.

Противник — огромный галл с двумя мечами, злой, быстрый, опытный. Он уклонялся, уклонялся, уклонялся, пока галл не зажал его в углу и не всадил меч по рукоять.

Прямо в сердце.

Он упал. Толпа взревела. Галл поднял руки, принимая победу. Хозяин выругался и пошёл договариваться о возврате денег.

Через минуту он встал.

Не сразу. Сначала пошевелился палец. Потом рука. Потом он открыл глаза. Меч всё ещё торчал из груди. Он вытащил его — не почувствовав боли, потому что окно силы ещё не кончилось, — и поднялся на ноги.

Толпа замерла.

Галл обернулся. Увидел его. Увидел меч в его руке. Увидел рану на груди, которая затягивалась на глазах.

— Что... — начал галл.

Он сделал шаг вперёд. Один шаг. Потом второй. Он не

хотел нападать. Он хотел подойти, положить руку на плечо, сказать: "Всё хорошо, ты не виноват".

Он протянул руку.

Коснулся плеча галла.

И галл разорвался надвое.

Не от удара. От прикосновения.

Он стоял, глядя на то, что осталось. Кровь ещё не впиталась в песок — она просто лежала на нём лужей, в которой плавали ошмётки плоти.

Он поднял свою руку. Ту, которой коснулся. Поднёс к лицу.

— Почему? — спросил он шёпотом.

Никто не ответил.

Он отошёл в угол арены, где никого не было, сел на песок и долго смотрел на свои руки.

При свете факелов они были обычными. Такими же, как у всех. Пять пальцев, ладони, запястья. Руки, которыми можно держать копьё, гладить ребёнка, обнимать мать.

Он протянул руку к камню, на котором сидел. Коснулся осторожно, кончиком пальца.

Ничего. Просто камень.

Он надавил сильнее. Палец вошёл в гранит, как в сырую глину. Камень треснул.

Он отдёргнул руку.

— Значит, дело не во мне, — сказал он тихо. — Дело в том, когда.

Он обхватил голову руками и замер.

«Когда меня убивают — я становлюсь смертью. А когда просто живу — я никто. И я не могу выбрать».

Кровь брызнула на песок. Трибуны заорали. Одни — в ужасе. Другие — в восторге. Третьи — не поняли, что произошло, и просто орали, потому что все орали.

Он стоял с оторванной рукой галла в своей руке. Смотрел на то, что осталось от человека, которого хотел успокоить.

— Я не хотел, — сказал он.

Никто не услышал.

Дальше было хуже.

Его объявили чудом. Демоном. Подарком богов. Хозяин понял, что нашёл золотую жилу.

Каждый бой теперь был спектаклем. Его выводили умирать — он умирал. Толпа ревела. Потом он вставал — толпа ревела громче. Потом он убивал противника — часто случайно, просто задевая, — и толпа сходила с ума.

Он пытался сдерживаться. Он научился замирать после воскрешения, не двигаться, ждать, пока схлынет сила. Но окно было коротким, а враги — настырными. Они набрасывались, чтобы добить, и погибали сами.

Он просил не выпускать его на арену в первые минуты. Хозяин смеялся.

— Ты моя птичка, поющая золотом. Будешь петь, как я скажу.

Однажды на арену вывели львов.

Трёх. Голодных, злых, подгоняемых копьями сзади.

Он стоял в центре, без оружия, без доспехов. Толпа ждала зрелища.

Львы набросились. Разорвали его за минуту. Толпа выла от восторга.

Через 30 секунд он встал.

Львы — умные звери — попятились. Они чуяли, что пахнет не так. Но бежать было некуда — арена окружена решётками.

Он подошёл к первому льву. Протянул руку. Хотел просто погладить — он любил зверей, они никогда не боялись его так, как люди.

Лев дёрнулся. Коснулся его руки.

Льва разорвало на части. Буквально. Шкура, кости, кровь — фонтаном во все стороны.

Он отдёрнул руку. Слишком поздно.

Два других льва забились в угол, завyli, начали грызть решётки, пытаясь сбежать. Смотрители тыкали в них копьями, но львы уже обезумели от страха.

Он стоял посреди арены, залитый кровью, и смотрел на то, что сделал.

Впервые за многие тысячи лет он заплакал.

Не от жалости к себе. От жалости к зверям, которых убил просто потому, что *дотронулся*.

Толпа молчала. Потом заорала снова. Ещё громче.

Им было всё равно на львов. Им было интересно *зрелище*.

После этого боя его перестали выпускать на арену с живыми противниками.

Хозяин боялся, что он уничтожит всех гладиаторов, а это убытки. Придумали новое развлечение: его убивали, он вставал, а потом его *запирали* на 60 секунд в железной клетке, чтобы сила схлынула без жертв.

Толпа смотрела, как он мечется в клетке, пытаясь не касаться стенок, потому что от его касания гнулось железо. Смотрела, как он кричит: "Откройте! Я не хочу!". Смеялась.

Для них это был цирк.

Для него — ад.

Он прожил в Риме почти сто лет.

Сменилось несколько хозяев. Кто-то был добрее, кто-то злее. Но все они видели в нём одно — вещь. Инструмент. Машину для убийства, которую можно выключать и включать.

Он пытался бежать. Его ловили. Наказывали. Сажали на цепь в подземелье, где он мог умереть от голода, воскреснуть и снова голодать. Бесконечный цикл, пока хозяин не вспоминал о нём.

Он пытался объяснить, что он человек. Ему не верили.

— Человек умирает насовсем, — говорили ему. — А ты — нет. Значит, ты не человек.

Логика железная. Не поспоришь.

Однажды, когда он сидел в клетке, к нему подошёл старик. Не стражник, не хозяин — просто старик в грязной туни-

ке, с посохом и пустыми глазами слепца.

— Ты тот, кто не умирает? — спросил старик.

— Да.

— Я слышал о тебе. Философы говорят, ты — ошибка природы. Жрецы говорят, ты — проклятие богов. А я думаю... может, ты просто устал?

Он поднял голову. Посмотрел на слепого старика.

— Откуда ты знаешь?

— Я тоже устал. Только я скоро умру. А ты — нет. Это тяжелее.

Они молчали долго. Потом старик ушёл.

Больше он его не видел.

Но эти слова остались: "Ты просто устал".

Да. Он устал. Он устал уже тогда, в палеолите, когда мать умерла. А теперь устал настолько, что даже смерть не была отдыхом.

Через сто лет Рим надоел ему.

Не то чтобы он сбежал. Просто однажды, после очередного "боя", когда клетка открылась, а сила уже схлынула, он не пошёл в подземелье. Он пошёл к воротам.

Стражники окликнули его. Он не остановился. Они бросились за ним, замахнулись мечами...

И упали замертво.

Не потому что он их тронул — сила уже ушла. Просто у них остановились сердца. От страха. Потому что они *видели*, как он вставал из мёртвых, и их рассудок не выдержал.

Он вышел из города и пошёл на север. Никто не погнался.

Он шёл и смотрел на свои руки. Те самые, которые в Риме убивали касанием. Теперь они просто висели вдоль тела — усталые, пустые, обычные.

Дороги пустели. Акведуки зарастали мхом. В одном из брошенных городов он нашёл фонтан, где когда-то поил лошадей. Вода всё ещё текла. Он зачерпнул ладонью, поднёс к лицу.

Руки были мокрыми. Холодными. Живыми.

Он вспомнил, как в детстве мать мыла ему руки перед сном. Тёплой водой, из ручья. Говорила: «Чистые руки — чистая душа».

Он посмотрел на свои ладони. Они были чистыми.

Душа — нет.

Он шёл.

Иногда его брали в деревни — там всегда нужны были руки. Он помогал, молчал, уходил до того, как начинали смотреть слишком пристально. Иногда его гнали сразу — по обрывкам одежды, по глазам, по тому неуловимому, что отличает чужака.

Он привык.

Тело его не менялось. Только внутри что-то оседало, как ил на дне реки. Слой за слоем, тысячелетие за тысячелетием.

К тому времени, когда на месте римских дорог остались только тропы, а вместо легионеров по ним пошли бородатые люди с крестами на шеях, он уже не помнил, сколько раз его

прогоняли.

Кресты были везде. На шеях, на дверях, на могилах. Люди целовали их, молились на них, умирали за них.

Однажды он зашёл в церковь — просто погреться. Внутри пахло воском и ладаном. На стене висел большой крест, и под ним лежала женщина. Мёртвая. Рядом плакал ребёнок.

Он подошёл, сел рядом с ребёнком, положил руку ему на голову. Ребёнок замер, посмотрел на него.

— Ты ангел? — спросил ребёнок.

Он покачал головой. Посмотрел на крест. Потом на свои руки.

— Я просто греюсь, — сказал он.

И это была правда.

Он помнил другое: мать, смех, прикосновение пальца к щеке. Это держало. Кресты — нет.

Новое время пахло иначе.

Раньше мир пах лесом, зверем, дымом костров. Потом — городами, потомом, железом. Теперь к этому добавился ещё один запах.

Ладан.

Он впервые вошёл в церковь случайно. Просто устал, замёрз, увидел открытую дверь каменного дома. Внутри было тепло, пахло воском, горели свечи. Люди стояли на коленях, бормотали.

Он сел в углу на скамью, закрыл глаза.

К нему подошёл человек в чёрном. Спросил что-то на

языке, которого он не знал. Он покачал головой. Человек в чёрном посмотрел долго, перекрестился и ушёл.

С тех пор он иногда заходил в такие дома. Не молиться — греться. Смотреть на огоньки. Слушать голоса.

Ему было всё равно, кому они поют. Ему нравилось, что они поют вообще. В палеолите люди выли на ветер. Здесь они складывали звуки в узоры.

Красиво.

Он не знал этого слова, но чувствовал.

В одной из таких деревушек, куда он забрёл, его едва не убили.

Кто-то крикнул: "Чужак!" Кто-то добавил: "Сарацин!" Кто-то — "Колдун!" Сбежались мужики с вилами, с топорами. Он поднял руки, показывая, что пуст. Не помогло.

Его загнали в угол у стены, приставили к горлу нож.

— Кто ты? — заорал самый смелый, брызгая слюной.

— Никто, — сказал он. — Я просто иду.

— Откуда?

— Оттуда.

Он махнул рукой на восток. Это могло значить что угодно.

— Врёшь! Ты от сарацин! Шпион!

Он вздохнул. Спорить было бесполезно. Он закрыл глаза и приготовился к смерти.

Нож вошёл в горло.

Он упал. Кто-то пнул тело. Кто-то плюнул. Толпа пошла дальше — обсуждать, правильно ли сделали.

Через пять минут он встал.

Кровь на шее запеклась коркой, под ней уже натягивалась новая кожа. Он вытер горло рукавом, поднял с земли котомку, которую уронил, когда падал, и пошёл дальше.

Из окна ближайшего дома на него смотрела старуха. Он встретился с ней взглядом. Она перекрестилась и отёрнула занавеску.

— Спасибо, что не закричала, — сказал он тихо, хотя она уже не слышала.

Он пошёл прочь из деревни. За спиной залаяли собаки, но быстро замолкли — они тоже чуяли неладное.

К тому времени, когда по Европе поползли слухи о Чёрной смерти, он уже знал, что это будет не похоже на другие болезни.

Он видел много смертей. Целые племена вымирали от лихорадки. Города пустели от голода. Но это было другое.

Это шло быстро. Оставляло горы трупов. Не щадило никого.

Глава 3: Средневековье

Он пришёл в первый чумной город, потому что услышал крики за три мили.

Город был заперт. Ворота заколочены досками. Сверху, со стен, на него смотрели люди в масках с длинными носами, похожие на чудовищных птиц.

— Уходи! — закричали ему. — Здесь мор!

Он подошёл ближе. Посмотрел на доски, которыми были забиты ворота. Взялся за одну. Доска затрещала и вылетела.

— Я войду, — сказал он.

Люди на стенах закрестились, забормотали, кто-то побежал звать священника. Но он уже вошёл.

Город вонял.

Он нюхал запахи всю свою жизнь. Запах смерти — не самый страшный. Страшнее — запах гниющей надежды. Здесь было именно так. Люди лежали прямо на улицах, в собственных испражнениях, в блевотине, в крови. Живые пытались утащить мёртвых, падали рядом и тоже умирали.

Он пошёл к тем, кто ещё дышал.

— Воды, — прохрипел кто-то.

Он нашёл колодец, набрал воды, стал поить.

Так началось его средневековье.

Город звался Мессина, но для него это было просто место,

где люди умирали быстрее, чем он успевал их поить.

Он пришёл туда в самом начале. Ещё не знал, что это — только первый. Что будут другие. Десятки. Сотни. Что чума идёт по Европе, как он идёт по дороге — неостановимо, равнодушно, навсегда.

В Мессине трупы лежали штабелями.

Он видел смерть каждый день миллионы лет. Но чтобы смерть была *езде* — такого не было. Воздух пах гнилью так, что к горлу подкатывало даже у него, хотя его организм мог переварить что угодно. Крики стояли такой стеной, что хотелось заткнуть уши.

Он не затыкал.

Он искал колодцы.

Воды не хватало всегда.

Больные хотели пить. Умиравшие хотели пить. Мёртвым было всё равно, но живые тащили их к колодцам, чтобы обмыть перед похоронами, и заражали воду, и умирали сами, и падали туда же, и вода становилась чёрной от крови и гноя.

Он находил новые источники. Рыл землю, как в неолите. Пробивал камни. Носил воду в вёдрах, в бадьях, в собственных ладонях, сложенных лодочкой.

Он не болел.

Сначала люди думали — святой. Падали на колени, когда он проходил. Кричали "Спаси!". Протягивали детей.

Он брал детей на руки — они не умирали от его прикосновений, потому что он был в базовом режиме, без силы. Он

носил их к колодцам, поил, закутывал в тряпки. Некоторые выживали. Большинство — нет.

Он научился не считать.

Один дом он запомнил навсегда.

Там лежала семья. Мать, отец, трое детей. Все в бубонах, все в жару, все орали от боли. Дверь была открыта — соседи не заходили, боялись.

Он вошёл.

Мать ещё дышала. Она посмотрела на него и прошептала: — Воды.

Он дал воды. Ей. Потом отцу. Потом детям.

Старший мальчик, лет семи, схватил его за руку.

— Ты не болеешь? — спросил он. Глаза блестели от жара.

— Нет.

— Почему?

Он не знал, что ответить. Просто покачал головой.

— Ты ангел? — спросил мальчик. — Мама говорила, ангелы приходят забирать.

— Я не забирать, — сказал он. — Я поить.

Мальчик кивнул, отпустил руку и закрыл глаза.

Через час он умер.

Мать умерла через два. Отец — к утру. Младшие дети — ещё через день.

Он закапывал их всех. Один. Потому что некого было позвать на помощь.

В следующем городе его встретили иначе.

Слухи бежали быстрее чумы. Кто-то уже знал: есть человек, который не болеет. Ходит по домам, поит больных, закапывает мёртвых. Одни говорили — святой. Другие — колдун.

К нему пришли монахи.

Черные, тощие, с крестами в руках. Спросили: "Ты кто?". Он ответил: "Никто". Спросили: "Откуда?". Он махнул рукой — оттуда. Спросили: "Почему не болеешь?".

Он молчал. Что он мог сказать? Правду? Что он уже умирал тысячи раз и это просто очередная попытка природы его добиться?

Монахи переглянулись. Один достал крест и протянул ему.

— Поцелуй.

Он посмотрел на крест. Это был просто кусок дерева. Он пожал плечами и поцеловал.

Ничего не случилось.

Монахи снова переглянулись. Теперь в их взглядах было не подозрение — растерянность. Если бы он был дьяволом, крест бы его обжёг. Если бы он был святым, они бы почувствовали благодать. А он просто... был.

— Ты кто? — спросил старший монах в третий раз, уже тише.

— Я тот, кто носит воду, — ответил он.

Они оставили его в покое.

Города сменяли друг друга.

Флоренция. Милан. Венеция. Марсель. Он не запоминал названия. Он запоминал лица.

Лицо женщины, которая умерла с его рукой в своей, потому что некому было больше держать.

Лицо старика, который проклял его перед смертью: "Почему ты жив, а мои внуки — нет?".

Лицо ребёнка, который выжил благодаря ему, а потом умер через неделю от заражённой воды.

Лицо священника, который отпевал умерших, пока не свалился сам, и в бреду звал его "Смертью с добрыми глазами".

Он носил воду. Он закапывал трупы. Он держал за руки умирающих.

Имя прилипло к нему само.

— Измор, — сказал однажды какой-то старик, глядя, как он проходит мимо. — Из мора пришёл, в мор уйдёт.

— Я не уйду, — ответил он.

— Тем хуже для тебя, — усмехнулся старик и закашлялся кровью.

Измор.

Он попробовал это имя на вкус. Оно было горьким, как зола. Оно пахло смертью, которую он не мог остановить. Оно было правдой.

С тех пор его так и звали. Сначала шепотом. Потом — вслух. Потом — на всех языках, через которые он проходил.

Измор.

Тот, кто вышел из мора.

Тот, кто сам есть мор.

В одном городе, уже на излёте чумы, когда умерших стало меньше, чем живых, к нему подошла девочка.

Лет пяти. Грязная, худая, с огромными глазами на восковом лице. Вся её семья умерла. Она сидела на крыльце дома и смотрела, как мимо идут люди. Никто не останавливался.

Он остановился.

— Ты кто? — спросила девочка.

— Никто.

— А чего стоишь?

— Смотрю.

Она помолчала. Потом протянула руку.

— Возьми меня. Ты же добрый. Мне сказали, ты добрый.

Он смотрел на её руку. Маленькую, грязную, с обломанными ногтями.

Он вспомнил Рим. Галла, разорванного надвое. Львов, разлетевшихся на куски. Свои руки, которые не умели прикасаться по-человечески в первые минуты после смерти.

Он вдруг понял, что не знает, безопасен ли он сейчас.

После смерти всегда есть окно. Пятнадцать, тридцать, шестьдесят секунд — когда одно касание может убить. Он никогда не знал точно, сколько оно длится. Только чувствовал, как мир становится тише, тусклее, безопаснее. Но граница была размытой.

Последний раз его убивали три дня назад. Или четыре?

Он сбился со счёта.

А вдруг оно ещё не кончилось?

Вдруг он дотронется до неё — и она разлетится, как тот галл на арене?

Он не знал, умрёт ли он сейчас. Он не знал, убьёт ли он сейчас. Он не знал, сможет ли коснуться её без вреда.

Он не мог рискнуть.

— Не могу, — сказал он.

Девочка отдёрнула руку. В глазах появилось что-то взрослое, страшное. Не обида — понимание.

— Ты тоже боишься, — сказала она. — Ты боишься меня.

— Да, — сказал он. — Боюсь.

Она кивнула, встала и пошла прочь, маленькая, худая, одна.

Он смотрел ей вслед, пока она не скрылась за поворотом.

«Я даже не знаю, — подумал он, — спас я её или убил бы, если б дотронулся».

Потом сел на то же крыльцо и просидел до темноты.

В ту ночь он впервые за много тысяч лет пожалел, что не может умереть по-настоящему. Не чтобы отдохнуть — чтобы не видеть этого.

Чума уходила медленно.

К тому времени, когда трупы перестали жечь кострами, а люди начали выходить из домов и улыбаться солнцу, он уже не помнил, сколько городов похоронил.

Тысячи? Десятки тысяч? Он перестал считать.

Одно он знал точно: он больше никогда не будет пытаться жить среди обычных людей. Они будут бояться его. Он будет бояться их. Между ними всегда будет стена из несказанных слов и непрожитых жизней.

Но были другие.

Те, кого обычные люди уже боялись. Те, кто носил на себе печать смерти, как он носил печать вечности.

Прокажённые.

К ним он пойдёт после чумы.

А пока — он просто сидел на холме над опустевшим городом и смотрел, как заходит солнце.

В руке он сжимал тряпичную куклу, которую девочка обронила, когда уходила.

Он так и не решился её догнать.

За городом была стена.

Не высокая, не каменная — так, плетень в два человеческих роста, кое-где подпёртый жердями. Но для тех, кто жил внутри, она была выше любой крепости. Потому что за ней кончался мир людей.

Он узнал об этом месте случайно.

Шёл по дороге прочь от очередного города, где его снова гнали, и услышал колокольчик. Звук был странный — не церковный, не пастуший. Одинокий, дребезжащий, будто кто-то тряс ржавым ведром.

Он свернул с дороги.

За плетнём сидели люди.

Он не сразу понял, что это люди. Слишком тихо сидели. Слишком неподвижно. Как камни. Как деревья. Как те, кому уже некуда идти и незачем спешить.

Потом один пошевелился. Поднял руку — и рука была без пальцев. Культя, обмотанная тряпками.

— Уходи, — сказал голос из-под капюшона. Хриплый, равнодушный. — Здесь нельзя. Мы заразные.

Он не ушёл.

Он подошёл ближе, сел на землю в двух шагах от говорившего и посмотрел на него.

— Я не боюсь, — сказал он.

Человек поднял голову. Капюшон упал.

Лица почти не было.

Там, где должен быть нос, зияла дыра. Губы съёжились, обнажив чёрные зубы. Кожа висела лоскутами, как старая кора. Глаза — единственное, что осталось человеческим, — смотрели устало и пусто.

— Все боятся, — сказал человек без лица. — Ты тоже боишься. Просто ещё не знаешь.

— Я знаю, — ответил он. — Я видел всё.

Человек без лица хотел усмехнуться, но вместо усмешки вышло только бульканье в горле.

— Много ты видел.

— Я видел, как мой народ сжигал меня за то, что я вставал из мёртвых. Я видел, как женщина, которую я любил, состарилась и умерла, а я остался. Я видел, как мои руки разрыва-

ли людей, которых я хотел просто коснуться. Я видел чуму. Я видел тысячи смертей. Я — Измор.

Человек без лица молчал долго. Потом спросил:

— Ты врешь?

— Нет.

— Докажи.

Он подумал. Потом взял палку, лежавшую рядом, и сломал её о свою голову. Сломал с такой силой, что палка разлетелась в щепки. Голова осталась цела. Только кровь потекла по лбу.

— Видишь? — сказал он. — Я не вру.

Человек без лица смотрел на кровь. Кровь текла, но уже медленнее. Края раны на глазах стягивались.

— Ты тоже проклят, — сказал человек без лица. Это был не вопрос.

— Да.

— Тогда садись.

Он сел рядом.

Их было семеро.

Он узнал их имена не сразу. Они не называли себя — зачем? Имен у них больше не было. Были только тела, которые разлагались заживо.

Вот тот, без лица, — раньше был кузнецом. Звали Мартин. Вот женщина, у которой вместо рук две культи по локоть, — она была молодой, красивой, выходила замуж. Жених сбежал, когда увидел первые пятна. Вот парень лет два-

дцати, у которого проказа съела ступни, — он ползал на обрубках, но всё ещё пытался улыбаться, когда видел солнце.

— Ты надолго? — спросил кузнец Мартин на второй день.

— Не знаю.

— Обычно здоровые не задерживаются. Им страшно.

— Я не здоровый.

Мартин посмотрел на него. На его гладкую кожу, на целые руки, на чистые глаза.

— Ты не похож на больного.

— Я другого рода больной.

Они сидели на брёвнышках у плетня и молчали.

Он вдруг понял, что молчать здесь — легко.

Со здоровыми тишина всегда давила. Они чувствовали, что он не такой, и боялись спросить. Или не боялись, но всё равно спрашивали — глазами, поворотами головы, напряжением в плечах. Тишина была полна вопросов.

А здесь вопросов не было.

Мартин кашлянул кровью в тряпку, вытер губы обрубком пальца.

— Ты не боишься? — спросил он.

— Чего?

— Заразиться.

— Я уже пробовал, — ответил он. — Не получается.

Мартин усмехнулся дырой вместо рта:

— Повезло.

— Не знаю.

И они снова замолчали. И это молчание было правильным.

Мартин кивнул. Спорить не стал.

Он остался.

Сначала просто сидел. Потом начал помогать.

Прокажённым нужна была вода — так же, как здоровым.

Еду им бросали через забор раз в три дня, но воду носить приходилось самим. Тем, у кого были руки. Тем, кто мог ходить.

Он носил воду всем.

Он таскал дрова. Чинил шалаши, которые разваливались от ветра. Подносил еду к тем, кто не мог двигаться. Выносил тех, кто умер за ночь, и закапывал в лесу, потому что на кладбище их не пускали.

— Ты зачем это делаешь? — спросила однажды безрукая женщина, которую он кормил с ложки.

— А что мне делать?

— Искать здоровых. Жить с ними.

— Они меня гонят.

— И нас гонят. Но ты же не такой, как мы. Ты не болеешь.

— Я болею, — сказал он. — По-другому.

Она посмотрела на него долго. Потом кивнула.

— Тогда оставайся.

Парень без ступней, тот, который улыбался солнцу, звал его смотреть закаты.

— Там красиво, — говорил он, показывая обрубком в сто-

рону леса. — Когда солнце садится, лес становится золотым. Ты видел?

— Видел. Много раз.

— А я каждый день смотрю. Думаю, вдруг завтра не увижу. Надо сегодня насмотреться.

Он сидел рядом и смотрел, как лес становится золотым. Парень молчал, улыбался.

— Тебе не больно? — спросил он однажды.

— Больно, — ответил парень. — Всё время. Но когда солнце садится, я забываю.

Он посмотрел на парня. На его обрубки, на струпья на лице, на глаза, которые смотрели на закат с такой жадностью, будто это последний закат в мире.

— Ты сильный, — сказал он.

— Нет, — ответил парень. — Просто живу. Пока могу.

Через месяц пришли из города.

Трое мужиков с дубьём, с факелами, с той особой решимостью, которая бывает у людей, когда они чувствуют себя правыми.

— Эй, ты! — заорали они ему. — Выходи!

Он вышел.

— Ты чего тут делаешь?

— Помогаю.

— Ты здоровый? Почему с ними?

— Они люди.

Мужики переглянулись.

— Ты с ума сошёл? Это ж прокажённые. Они прокляты. Если будешь с ними — сам станешь таким.

— Не стану.

— Откуда знаешь?

— Я уже пробовал.

Мужики переглянулись снова. Решили, что он юродивый. Таких боялись меньше, чем колдунов, но всё равно сторонились.

— Ладно, — сказал главный. — Твоё дело. Но если чума к нам придёт из-за вас — сожжём всех.

Он посмотрел на главного. Спокойно, устало.

— Чума уже прошла. А эти — не чума. Они просто люди, которым не повезло.

Мужик сплюнул и ушёл. Двое за ним.

Прокажённые смотрели из-за плетня. Кто-то плакал. Кто-то молился. Кто-то просто смотрел.

— Они вернутся, — сказал Мартин. — Они всегда возвращаются. С факелами.

— Я знаю.

— Ты уйдёшь?

— А вы?

Мартин усмехнулся своей страшной усмешкой.

— Нам некуда.

— И мне некуда.

Он прожил с ними полгода.

Потом пришла зима. Холодная, злая. Прокажённые мёрз-

ли сильнее здоровых — их тела уже не грели как надо. Двое умерли за первую же неделю. Он закапывал их в мёрзлой земле, долбил ломом, обдирал руки в кровь, и руки заживали за ночь.

Парень без ступней перестал улыбаться солнцу. Солнца почти не было. Только серое небо и ветер, который продувал шалаши насквозь.

— Ты уходи, — сказал он однажды. — Ты замёрзнешь с нами.

— Я не мёрзну.

— Врёшь. Все мёрзнут.

— Я по-другому.

Парень покачал головой, но спорить не стал.

Он сидел с ним ночами, когда тот кашлял кровью. Держал за руку — там, где ещё остались пальцы. Грел своим телом, прижимал к себе, как мать когда-то грела его.

Парень умер на исходе зимы.

Тихо. Просто перестал дышать. Глаза были открыты, смотрели в потолок шалаша. Улыбки не было — в последние дни ему было не до улыбок.

Он сидел рядом до утра. Потом завернул тело в тряпье, отнёс в лес и закопал рядом с двумя другими.

Вернулся в шалаш, сел и просидел до вечера.

Никто не подошёл. Все знали — ему нужно побыть одному.

Весной их осталось трое.

Мартин, безрукая женщина и ещё одна старуха, которая почти не говорила и всё время спала.

— Ты скоро уйдёшь? — спросил Мартин.

— А вы?

— Мы скоро умрём. Это разные вещи.

Он посмотрел на Мартина. На его лицо, которого почти не было. На руки-культы. На глаза, которые смотрели спокойно, без страха.

— Я не хочу уходить, — сказал он.

— Знаю. Но ты уйдёшь. Потому что мы умрём, а ты останешься. И будешь искать других таких, как мы.

— Где я их найду?

— Везде, где людям больно. Ты теперь знаешь, где искать.

Он молчал.

— Ты не такой, как мы, — продолжал Мартин. — Но ты и не такой, как они. Ты где-то посередине. И твоё место — тоже посередине. Не с живыми, не с мёртвыми. С теми, кто уже не жив, но ещё не умер.

— Это вы.

— Мы. И другие такие. Во все времена будут люди, которым некуда идти. Ты будешь с ними.

— Ты говоришь, как пророк.

Мартин усмехнулся.

— Я кузнец. Просто кузнец, у которого сгнило лицо. Но когда долго сидишь и ждёшь смерти, начинаешь видеть то, чего другие не видят.

Они помолчали.

— Я запомню тебя, — сказал он.

— Запомни. А я тебя — нет. Я скоро вообще ничего не буду помнить.

Мартин умер через три дня. Во сне. Просто не проснулся.

Он закопал его рядом с остальными.

Он стоял над могилой и смотрел на свои руки.

Те самые руки, которые три дня назад держали Мартина, когда тот кашлял кровью. Которые поправляли ему одеяло. Которые выносили тело, когда всё кончилось.

Руки были чистыми. Цельными. Обычными.

Он сжал их в кулаки. Разжал. Снова сжал.

— Ты мог бы его спасти? — спросил он себя вслух.

Он знал ответ. Знал уже тысячи лет.

Нет.

Его тело умело только одно: собирать себя заново. Оно не умело чинить других. Его кровь не лечила. Его клетки не приживались. Его сила, когда она приходила, могла только разрушать.

— Я — машина для собственного воскрешения, — сказал он земле. — И больше ничего.

Ветер шевелил листву. Где-то вдалеке лаяла собака.

Он постоял ещё минуту, потом повернулся и пошёл обратно к плетню.

Потом вернулся, помог безрукой женщине и старухе дожить до тепла.

Когда пришло лето, они обе ещё были живы. Пришёл обоз с припасами — город смилостивился, прислал еду и старые одеяла.

— Ты уходи, — сказала безрукая женщина. — Теперь мы справимся. А ты иди. Ищи других.

— Я вернусь, — сказал он.

— Зачем?

— Проведать.

Она покачала головой.

— Не надо. Мы умрём. Ты придёшь — а нас нет. И будет больно. Лучше не приходи.

Он посмотрел на неё долго. Потом кивнул.

— Хорошо.

Она улыбнулась. Без рук, с лицом, покрытым струпьями, с глазами, которые видели слишком много плохого, — улыбнулась.

— Ты хороший, — сказала она. — Для проклятого.

Он улыбнулся в ответ. Впервые за много тысяч лет.

— Ты тоже.

Глава 4: Собеседники

Он ушёл на закате.

Шёл через лес, мимо могил, которых никто не пометил, мимо шалашей, которые скоро развалятся, мимо места, где впервые за тысячелетия был просто человеком.

На опушке остановился. Оглянулся.

За плетнём никого не было видно. Только ветер шевелил тряпки, развешанные для просушки.

— Я вернусь, — сказал он тихо. — Обещаю.

И пошёл дальше.

После прокажённых он долго не мог войти в город.

Он просто ходил по лесам, по дорогам, ночевал в полях, ел ягоды и коренья, как в старые времена. Внутри было странное чувство — не боль, не пустота, а что-то среднее. Будто он отогрелся у костра, а теперь снова вышел на холод.

Прокажённые дали ему то, чего не давал никто: право быть просто человеком. Не богом, не демоном, не вещью. Просто тем, кто может подать воды и посидеть рядом.

Но они умерли.

А он остался.

Через несколько лет он снова попробовал жить среди людей.

Деревня на холме, маленькая, бедная, далёкая от больших дорог. Туда не доходили слухи о чуме, там не знали о "чело-

веке из мора". Там просто жили, пахали, рожали, умирали.

Он пришёл весной. Сказал, что странник, что ищет работы. Его взяли — руки нужны были всегда.

Он работал в поле, таскал камни, чинил заборы. Молчал, когда с ним говорили. Улыбался, когда смотрели. Прятал глаза, когда кто-то слишком пристально вглядывался.

Его терпели.

Не любили — терпели. Станный, молчаливый, но работающий. Таких берут.

Он прожил там три года.

На четвёртый год пришла беда.

Неурожай. Дожди залили поля, зерно сгнило на корню. Люди голодали. Дети пухли с голоду, старики умирали первыми.

Он делал что мог — уходил в лес, приносил дичь, коренья, грибы. Но леса не могли прокормить деревню. Нужно было чудо.

Чуда не случилось.

Зато случилось другое.

Кто-то вспомнил, что он не меняется. Кто-то сказал: "А ведь он пришёл к нам давно, а выглядит всё так же". Кто-то добавил: "И не болеет никогда". Кто-то ещё: "И в тот год, когда коровы дохли, он был — и коровы выжили, а теперь нет его — и мор на поля".

Логика была простая: беда пришла, потому что он здесь. Или потому что он уйдёт — беда уйдёт.

Ему сказали уходить.

Он не спорил. Собрал котомку, поклонился на прощание и ушёл.

На краю деревни его догнала девочка — та, которой он когда-то принёс зайца, когда её мать болела. Протянула краюху хлеба.

— На, — сказала. — Ты хороший.

— Спасибо, — сказал он.

— Ты вернёшься?

— Нет.

— Почему?

— Некуда возвращаться.

Девочка кивнула, будто поняла. Спрятала руки за спину и смотрела, как он уходит в лес.

Он не оглянулся.

Дальше были другие деревни, другие города, другие изгнания.

В одном месте его приняли за еретика, потому что он не знал молитв. В другом — за колдуна, потому что у него зажила рана за ночь. В третьем — просто за чужака, потому что говорил с акцентом (акцент у него был со времён палеолита, смесь тысяч языков, которую никто не мог опознать).

Его били. Иногда — просто прогоняли. Иногда — пытались убить. Иногда — убивали. Он вставал и уходил. Те, кто видел, сходили с ума или начинали молиться. И то и другое было одинаково бесполезно.

К середине XIV века он уже знал: попыток больше не будет.

Не потому что он озлобился. Просто устал.

Он перестал искать места, где можно жить. Он просто шёл. Иногда помогал тем, кто попадался на пути, но не задерживался. Как ветер. Как дождь. Как смерть.

А потом началась охота.

Инквизиция набирала силу. Костры горели по всей Европе. Искали ведьм, колдунов, еретиков — всех, кто не такой. О нём уже ходили слухи.

Человек, который не умирает. Который был в чумных городах и остался жив. Который живёт с прокажёнными. Который не стареет.

Для инквизиции это пахло ересью высшей пробы.

Его начали искать.

Он не прятался. Ему было всё равно.

В первый раз его взяли в маленьком городке на севере Италии.

Он просто сидел на площади, грелся на солнце, когда подошли люди в чёрном. Спросили: "Ты тот самый?". Он пожал плечами. Они надели на него цепи и повели.

Цепи были железные, тяжёлые. Он нёс их покорно. Зачем сопротивляться? Убьют — встанет. Не убьют — так и пойдёт.

В подземелье его пытали.

Он знал, что такое боль. Он умирал тысячи раз. пытки

были просто новой формой старого знакомого.

Его жгли калёным железом. Он молчал.

Его растягивали на дыбе. Он молчал.

Ему ломали пальцы. Он молчал.

Инквизиторы уставали быстрее, чем он.

— Признайся! — орали они. — Ты служишь дьяволу!

— Я никому не служу, — отвечал он. Голос был спокойный, усталый.

— Тогда почему ты не умираешь?!

— Я умираю. Просто встаю.

Это звучало как ересь. Хуже — это звучало как правда, которую они не могли принять.

Его приговорили к сожжению.

Костёр сложили на главной площади. Собралась толпа — поглазеть на чудо. Слухи о "неумирающем" разнеслись быстро.

Его привязали к столбу. Обложили хворостом. Поднесли факел.

Огонь пошёл весело, с треском. Жар обжёг ноги, потом живот, потом лицо. Он закрыл глаза и ждал.

Он умер через семь минут.

Толпа ахнула, когда тело обуглилось и обвисло на цепях. Кто-то зааплодировал. Кто-то закрестился. Инквизитор поднял руку, призывая к тишине.

— Вот так умирают слуги дьявола! — провозгласил он.

Через тридцать секунд пепел зашевелился.

Толпа не сразу поняла, что происходит. Сначала просто ветер поднял золу. Потом под золой что-то блеснуло. Кожа. Новая, розовая, нарастающая прямо на глазах.

Он открыл глаза.

В первые 15 секунд после воскрешения мир был слишком ярким, слишком громким, слишком ломким. Он чувствовал каждую травинку под ногами, каждую муху в воздухе, каждый взгляд в толпе.

И в этих взглядах он увидел то, что видел всегда.

Страх. Ненависть. Жажду зрелища.

Инквизитор побелел как мел. Попятился, забормотал молитву.

— Во имя Отца и Сына... не подходи...

Он не собирался подходить. Он хотел просто уйти. Разорвать цепи, спрыгнуть с костра и пойти прочь, как делал всегда.

Но в этот раз что-то щёлкнуло внутри.

Не злость. Злость была горячей, быстрой. Это было что-то другое. Холодное. Тяжёлое. Тысячелетнее.

Сколько можно?

Он шагнул.

Цепи лопнули, даже не звякнув. Просто перестали существовать. Он ступил на землю — и камни под его ногой треснули.

Инквизитор закричал и побежал.

Он не бежал за ним. Он просто протянул руку в его сторону. Не ударил, не схватил — просто протянул.

Инквизитор упал замертво. Не от удара — от ужаса. Сердце не выдержало.

Двое других, те, что были ближе, тоже попадали. Кто-то умер сразу, кто-то корчился на земле, хватая ртом воздух.

Толпа взвыла и бросилась врассыпную.

Он стоял посреди площади, голый, в копоти, с глазами, в которых не было ничего человеческого. Только усталость. Только пустота.

— Я не хотел, — сказал он.

Никто не слышал.

Сила схлынула через минуту.

Он пошатнулся, едва не упал. Подобрал чей-то плащ, брошенный на земле, накинул на плечи. Пошёл прочь.

Никто его не остановил.

На окраине города он оглянулся. Над площадью всё ещё поднимался дым от костра. Люди жались по углам, не решаясь выходить.

— Я не хотел, — повторил он шёпотом.

И пошёл прочь.

Прочь от города, где догорал костёр. Прочь от людей, которые смотрели на него как на чудовище. Прочь от всего, что называлось "цивилизацией".

Ноги несли сами.

Дороги кончились, потом тропы кончились, потом начался лес. Настоящий, старый, густой — такой, в котором он родился тысячи лет назад. Здесь пахло так же, как тогда: прелой листвой, звериным потом, грибами и тишиной.

Он шёл и не думал. Просто ставил одну ногу перед другой.

Через три дня лес кончился. Начались горы.

Он пошёл в горы.

На четвёртый день он нашёл место.

Распадок между двумя скалами, закрытый от ветра. Рядом — ручей, чистый, холодный, с водой, которая пахла камнем и временем. Чуть выше — старая пещера, неглубокая, но сухая. Перед ней — ровная площадка, где могло бы поместиться что-то, если бы захотело поместиться.

Он сел на камень и просидел до вечера.

Просто сидел. Смотрел, как солнце садится за скалы. Слушал ветер. Считал удары сердца.

На закате он встал и сказал вслух:

— Здесь.

Он строил сам.

Впервые за тысячи лет он строил для себя. Не временное укрытие на ночлег, не шалаш, который бросит утром. Настоящее, на века. Ну, насколько "на века" может построить один человек без инструментов.

Он таскал камни из осыпи. Подбирал их один к одному, как в палеолите подбирал кремни для наконечников. Клал стены без раствора — просто на вес, на глаз, на тупое упрям-

ство.

Деревья для крыши валил голыми руками. В базовом режиме это было тяжело — приходилось бить, пилить камнем, тратить дни. Но дни были теперь не важны.

Крышу покрыл дёрном. Пол выложил плоскими камнями. Дверь сколотил из обломков, которые нашёл внизу, в брошенной деревне.

На всё ушло три месяца.

Когда он в первый раз лёг спать в доме, который построил сам, — впервые за тысячелетия — он заплакал.

Тихо. Без звука. Просто слёзы текли по щекам и падали на каменный пол.

Он не знал, отчего. Может, от усталости. Может, от того, что у него наконец-то было *своё* место.

Зимой он сидел у очага и смотрел на огонь.

Дым уходил в дыру в крыше — он научился делать правильно, ещё в неолите видел, как люди строят. Тепло держалось. За стенами выла выюга, а здесь было сухо и почти уютно.

Он сидел и думал.

Впервые за тысячи лет у него было время думать. Не выживать, не убегать, не помогать, не умирать — просто сидеть и думать.

О чём? Обо всём.

О матери. О племени. О Риме. О чуме. О прокажённых. Об инквизиторах, которые упали замертво от его взгляда.

О том, что он такое.

Ответа не было.

Весной он спустился в долину.

Не за едой — еды в горах хватало. За другим.

В деревне, которую он помнил ещё с прошлого века, он выменял шкуры на бумагу. Много бумаги. И чернила. И перья.

Люди смотрели на него косо, но не гнали. Странный отшельник, платит шкурами, не буйнит — и ладно.

Он вернулся в свою хижину, разложил бумагу на камне, обмакнул перо в чернила и замер.

С чего начать?

Он помнил всё. Абсолютно всё. Каждое лицо, каждое имя, каждую смерть. Но как это записать? Где первое слово?

Он закрыл глаза и увидел мать. Её палец, касающийся его щеки. Её смех.

Открыл глаза и написал:

"Сначала была боль. Но я не помню её. Я помню руку."

Это была первая строчка первого дневника.

Он писал каждый вечер.

Не каждый день — иногда неделями не брался за перо. Но когда брался — писал много, подробно, не щадя себя. Всё, что помнил. Всё, что вынес.

Дневники росли. Сначала одна тетрадь, потом вторая, потом стопка.

Их нужно было где-то хранить. В хижине сыро, бумага

портится. В пещере у входа — тоже не идеал, ветер задувает, звери могут забраться.

Он начал расширять пещеру.

Просто долбил стену вглубь, расширял нишу, чтобы сделать полку. Долбил день, два, неделю. Камень был твёрдый, работа шла медленно.

На исходе второй недели случилось это.

Он ударил кайлом — и камень провалился.

Не просто откололся — провалился внутрь, в пустоту. За ним была темнота. Глубокая, густая, пахнувшая сыростью и чем-то ещё... чем-то древним.

Он замер. Потом взял факел, сунул в дыру.

И забыл, как дышать.

Там был зал.

Огромный, выше любого собора, который он видел. Стены его были покрыты кристаллами. Тысячи кристаллов — прозрачных, молочных, голубоватых, жёлтых. Они росли отовсюду: сверху, снизу, с боков. Свисали с потолка сталактитами, поднимались с пола сталагмитами, переплетались, как корни деревьев.

Факел отражался в каждой грани. Свет метался по залу, зажигая тысячи огней. Казалось, что стены горят изнутри.

В центре зала, в самой низкой точке, блестело озеро. Вода в нём была такая прозрачная, что казалось — там нет воды, просто пустота, провал в другую вселенную.

Он шагнул внутрь.

Шаги отдавались эхом, которое не хотело затихать. Казалось, зал дышит, слушает, ждёт.

— Здравствуйте, — сказал он шёпотом.

Кристаллы ответили. Тысячами голосов, размноженных эхом, превращённых в музыку.

Он стоял посреди этого великолепия, маленький, грязный, в обтрёпанной одежде, с факелом в руке, и чувствовал себя...

Дома.

Впервые за миллионы лет — абсолютно, наконец-то дома.

Он не пошёл дальше в тот день. Просто сидел на берегу подземного озера и смотрел, как кристаллы играют со светом.

Потом вернулся в хижину, лёг и проспал до утра.

Утром взял дневники и понёс их в зал.

Он вырубил в стенах ниши — глубокие, сухие, защищённые от влаги. Поставил туда тетради. Ровными рядами. Как солдат в строю.

Когда закончил, отошёл и посмотрел.

Кристаллы отражали корешки книг. Казалось, они охраняют их, укутывают своим светом.

— Спасибо, — сказал он залу.

Зал промолчал. Но молчание это было тёплым.

Он приходил туда каждый день.

Иногда — писать. Садился у озера, клал бумагу на плоский камень и выводил буквы, а кристаллы светили ему, за-

меня солнце.

Иногда — читать вслух. Свои старые записи, или просто так — стихи, которые помнил, истории, которые никто никогда не услышит.

Иногда — просто сидеть. Смотреть, как вода в озере чуть колышется от неведомых подземных течений. Слушать тишину, которая здесь была гуще, чем где-либо.

Кристаллы росли.

Он видел это. Не каждый день, не каждый год — но видел. Крошечные изменения. Миллиметры за десятилетия.

Они были такими же, как он. Вечными. Медленными. Живущими в другом ритме, чем всё остальное.

Иногда он разговаривал с ними.

— Ты видел динозавров? — спрашивал у большого прозрачного кристалла, похожего на застывшую слезу.

Кристалл молчал.

— А я видел. Они были глупые и вкусные.

Кристалл молчал, но в его гранях что-то менялось. Или это свет так играл?

Он не считал годы в пещере.

Просто однажды утром (или вечером — под землёй не различить) он понял, что больше не хочет сидеть. Не то чтобы надоело — просто тело попросило движения. Ноги захотели дороги. Глаза — солнца.

Он собрал котомку. Взял немного еды, нож, огниво. На прощание постоял в зале, глядя на кристаллы.

— Я вернусь, — сказал он.

Кристаллы молчали. Но ему показалось — чуть ярче блеснули.

Он вышел.

Снаружи было лето.

Он стоял на склоне, шурился от солнца, дышал воздухом, который пах цветами и пылью, и чувствовал себя... странно. Как будто проспал одну ночь, а проснулся — в другом мире.

Потом он пошёл вниз.

Дорога привела его в деревню, которой раньше не было.

Или была? Он не помнил. За сто лет многое меняется. Вместо старых хижин — новые, покрепче. Вместо грязных троп — утоптанная дорога. Вместо людей в рогоже — люди в сукне, в кожах, даже в шляпах каких-то.

Он вошёл в деревню, как входил всегда — тихо, с краю, стараясь не привлекать внимания.

Не получилось.

На него смотрели. Дети показывали пальцами. Женщины отводили глаза. Мужики хмурились.

Он посмотрел на себя. Тряпьё, в котором он уходил от инквизиторов, превратилось в лохмотья. За столетия в пещере оно истлело, висело клочьями, едва прикрывая тело. Он выглядел как нищий, как беглый каторжник, как выходец с того света.

— Кто таков? — спросил мужик с топором за поясом.

— Путник, — ответил он.

— Откуда?

— Из гор.

— А чего в таком виде?

Он посмотрел на свои лохмотья. Пожал плечами.

— Долго шёл.

Мужик хмыкнул, но отстал. Нищие здесь были не в диковинку. Его пустили переночевать на сеновале, а утром он ушёл.

Но в голове засело: так больше нельзя.

В следующем городе он нашёл портного.

Выменял шкуру, запасённую ещё в горах, на простую рубаху, штаны и куртку. Грубые, дешёвые, но целые. Обувь тоже нашлась — стоптанные сапоги, в пору.

Он посмотрел на себя в отражение лужи.

Из воды на него смотрел обычный человек. Немолодой, усталый, в плохой одежде — но человек. Не выходец с того света.

— Хорошо, — сказал он своему отражению.

Отражение кивнуло.

Он пошёл туда, где было тепло.

Не потому что замёрз — он не мёрз почти никогда. Просто юг пах иначе. Там было больше солнца, больше жизни, больше людей, которых он не видел тысячу лет.

Италия. Потом Франция. Потом Германия.

Он шёл пешком, иногда садился на попутные телеги, ино-

гда ночевал в полях. В городах задерживался ненадолго — смотрел, слушал, запоминал, уходил.

Менялось всё.

Люди строили дома выше, чем раньше. Ездили в повозках с рессорами. Стреляли из ружей, которые били дальше луков. Пили кофе, которого раньше не было, и курили трубки, которых раньше не нюхали.

Он смотрел и удивлялся. Не сильно — он видел и не такое. Но приятно.

В одном городе, название которого он не запомнил, случилось вот что.

Он сидел на скамейке у собора, грелся на солнце, когда мимо прошёл человек в чёрном камзоле и белом парике. Остановился, посмотрел на него, прошёл дальше. Потом вернулся.

— Простите, — сказал человек на немецком с лёгким акцентом. — Мы знакомы?

Он поднял глаза.

Человек был немолод, с умными глазами и тонкими губами. Смотрел не как на нищего — с любопытством.

— Нет, — ответил он.

— Странно. У вас очень... выразительное лицо. Вы не здешний?

— Я оттуда, — он махнул рукой в сторону гор.

— Путешественник?

— Можно так сказать.

Человек помолчал, разглядывая его.

— Простите мою навязчивость, — сказал он наконец. — Я учёный. Меня зовут Готфрид Вильгельм Лейбниц. Я собираю истории людей. Не согласитесь ли вы побеседовать со мной?

Он посмотрел на Лейбница долго. Очень долго. Потом спросил:

— Зачем?

— Потому что вы не похожи на других. Ваши глаза... они видели больше, чем положено человеку.

Он усмехнулся. Впервые за много лет.

— Вы правы, — сказал он. — Видели.

Они сидели в трактире, пили пиво, говорили.

Лейбниц расспрашивал о путешествиях, о виденных землях, о народах. Он отвечал односложно, но ёмко. Называл места, которых уже нет. Говорил о племенах, которые исчезли. О языках, на которых никто не говорит.

Лейбниц слушал, и его глаза становились всё шире.

— Откуда вы это знаете? — спросил он наконец. — Таких сведений нет ни в одной книге.

— Я был там, — ответил он.

— Когда?

— Давно.

Лейбниц помолчал. Потом спросил тихо:

— Сколько вам лет?

Он посмотрел на учёного. В его глазах не было страха —

только жадное любопытство исследователя.

— Много, — сказал он.

— Больше ста?

— Больше.

— Больше тысячи?

Он кивнул.

Лейбниц откинулся на спинку стула. Выдохнул.

— Я искал доказательства, — сказал он. — Всю жизнь. Думал, это легенды. Алхимические бредни. А вы... вы сидите передо мной.

— Сижу.

— Вы позволите вас изучать?

— Зачем?

— Чтобы понять. Чтобы записать. Чтобы люди знали — такие, как вы, существуют.

Он усмехнулся снова.

— Люди всегда знали. И всегда боялись. Чем вы лучше?

Лейбниц подумал.

— Я не буду вас жечь, — сказал он просто. — Я буду задавать вопросы. И записывать ответы. А вы будете жить дальше, как жили. Только теперь — в книгах.

Он посмотрел на Лейбница долго. Очень долго.

Потом кивнул.

— Хорошо. Спрашивайте.

Так началась их странная дружба.

Лейбниц записывал всё. Его рассказы о палеолите, о пер-

вых городах, о Риме, о чуме. Иногда не верил, переспрашивал, сверял с древними текстами. Иногда находил совпадения — и тогда глаза его загорались безумным огнём.

— Вы — исторический источник! — восклицал он. — Живой! Ходячий! Вы помните то, что утеряно навсегда!

— Я помню всё, — отвечал он. — В этом и беда.

Лейбниц не понимал. Для него это было счастьем — знать. Для него это было проклятием — помнить.

Они провели вместе несколько месяцев.

Лейбниц показывал ему книги, которых он не читал. Микроскопы, в которые можно смотреть на каплю воды. Механизмы, которые двигались сами.

— Мир меняется, — говорил учёный. — Скоро люди научатся летать. Передавать мысли на расстояние. Побеждать болезни.

— Болезни не побеждают, — отвечал он. — Они просто отступают. И возвращаются.

— Вы циник.

— Я свидетель.

Потом Лейбниц уехал.

У него были дела при дворах, споры с Ньютоном, письма, которые нужно было писать. Он оставил ему адрес и деньги.

— Приезжайте, если будет нужно, — сказал он на прощание. — Я всегда буду вас ждать.

Он кивнул.

Он знал, что Лейбниц умрёт. Скоро. По меркам людей —

скоро. А он останется. И будет помнить этого любопытного человека в белом парике, который не побоялся задавать вопросы.

Он останется. И запишет.

Он вернулся в пещеру. Взял новый дневник. Написал:

"Сегодня говорил с учёным. Он хотел знать всё. Я рассказал. Он записал. Он умрёт, а записи останутся. Может быть, люди когда-нибудь прочитают и поймут. Хотя вряд ли."

Потом посидел у озера, глядя на кристаллы.

— Вы всё видели, — сказал он им. — Вы видели, как приходят и уходят. Как я.

Кристаллы молчали.

— Хорошо вам, — сказал он. — Вы не помните.

И уснул.

А утром вышел снова.

Потому что мир ждал. И в этом мире было ещё много того, что стоило записать.

Утро встретило его солнцем и ветром.

Он вышел из пещеры, зажмурился, постоял так минуту, привыкая к свету. Потом открыл глаза и улыбнулся.

Впервые за тысячелетия — просто улыбнулся. Без причины.

Солнце грело. Птицы орали. В траве стрекотало что-то мелкое и суетливое. Мир был жив и не собирался умирать в ближайшее время.

Он подхватил котомку — в ней лежали смена белья, нож, огниво, немного еды и **дневник**. Новый, в грубом холщовом переплёте, сшитый своими руками. И холщовая же сумка, старая, драная, но надёжная, чтобы носить этот дневник с собой.

— Ну, — сказал он миру. — Пойдём.

И пошёл.

Сначала были просто дороги.

Он шёл, смотрел, слушал. Останавливался в деревнях, помогал по хозяйству, ночевал в сараях, ел что дадут. Иногда платил медяками — теми, что остались от Лейбница. Иногда просто уходил, не дожидаясь утра.

В нём поселилось странное чувство, которого он не знал раньше.

Покой.

Не безразличие — покой. Он больше не искал места, где можно прижиться. Не надеялся, что его примут. Не ждал, что прогонят. Он просто *был*. Шёл. Смотрел. Иногда записывал.

Он садился на обочине, доставал дневник, макал перо в чернильницу (маленькую, жестяную, с плотной пробкой) и писал. Коротко. Ёмко. Только то, что стоило запомнить.

"Сегодня видел, как парень учил девушку целоваться. У них не получалось. Они смеялись. Я вспомнил, что тоже так смеялся когда-то. Давно."

"В трактире спорили о Боге. Один говорил — есть. Дру-

гой — нет. Я не вмешивался. Я знаю ответ, но он им не понравится."

"Ребёнок упал в лужу. Заплакал. Мать подняла, поцеловала. Я вспомнил свою. Захотелось заплакать. Не стал."

Сумка с дневником висела на плече, была по боку, натирала кожу. Он не замечал. Она была частью его теперь. Как рука. Как память.

Первый год он просто шёл на юг.

Туда, где теплее, где зимы не такие злые. Италия встретила его виноградниками и солнцем. Он сидел на склонах, смотрел, как работают люди, и вспоминал, как сам когда-то давил ягоды ногами. Тысячи лет назад. В другой жизни.

Потом повернул на восток.

Греция. Развалины храмов, которые он помнил целыми. Он сидел на камнях, гладил мрамор, и мрамор был тёплым от солнца.

— Я помню тебя, — говорил он колонне. — Ты стояла, когда жрецы резали быков. А теперь ты лежишь.

Колонна молчала. Он доставал дневник и записывал.

Через три года он добрался до Константинополя.

Город уже не был тем, что он помнил. Другие люди, другие стены, другие боги. Но море было тем же. Он сидел на берегу, смотрел на волны и писал.

"Море не меняется. Я смотрел на него с этого берега тысячу лет назад. Тогда здесь были другие люди. Они тоже смотрели на море и думали, что оно вечное. Они ошибались."

Море вечное. Они — нет."

К нему подошёл мальчишка, попросил милостыню. Он дал монету. Мальчишка удивился — нищие обычно не дают.

— Ты кто? — спросил мальчишка.

— Никто, — ответил он.

— А чего сидишь?

— Смотрю на море.

Мальчишка постоял, посмотрел на море, пожал плечами и убежал.

Он усмехнулся и записал и это.

Годы шли.

Он перестал их считать. Просто жил. Зимой — в тёплых краях, летом — где придётся. Иногда задерживался в одном месте на месяцы, иногда уходил через неделю.

Люди привыкали к нему быстро. Станный путник, молчаливый, но работающий. Помогает, не ворует, не пристаёт. Иногда сидит с книжечкой, что-то пишет. Чудак, наверное. Но чудаков в мире хватало.

Он писал почти каждый день.

Сумка истрепалась, порвалась, он зашил её грубыми стежками. Дневник кончился, он купил новый на ярмарке, переписал туда самое важное из старого, а старый сжёг. Нечего таскать лишнее.

Новый дневник был лучше. Плотная бумага, кожаный переплёт, застёжка. Он положил его в сумку и пошёл дальше.

Через десять лет после встречи с Лейбницем он поймал себя на мысли:

— А ведь тот человек, наверное, ещё жив.

Он остановился посреди дороги и задумался.

Лейбниц. Странный, в парике, с горящими глазами. Который не боялся. Который слушал. Который дал денег и адрес.

— Надо зайти, — сказал он вслух.

И повернул на север.

Ганновер встретил его дождём.

Он стоял у ворот дома Лейбница, мокрый, с сумкой через плечо, и смотрел на знакомые окна. В одном из них горел свет. Кто-то двигался за шторой.

Он постучал.

Дверь открыл не слуга — сам Лейбниц. В халате, без парика, с лысой головой и усталыми глазами. Посмотрел на него долго. Очень долго.

— Простите, — сказал учёный. — У вас очень знакомое лицо. Вы случаем не...

— Это я, — сказал он.

Лейбниц замер. Потом улыбнулся. Потом засмеялся. Потом схватил его за плечи и втащил в дом.

— Боже мой! Боже мой! — приговаривал он, пока они шли по коридору. — Я думал, вы уже... я думал, вы не вернётесь! Сколько лет прошло?

— Десять, — сказал он. — Или одиннадцать. Я не считал.

— А я считал! — Лейбниц усадил его в кресло у камина.

— Каждый год! Думал, может, письмо придёт. Но вы же не пишете?

— Не пишу.

— Конечно, не пишете. Зачем вам писать? Вы просто приходите. Исчезаете на десятилетия и приходите. Садитесь, грейтесь. Я велю принести ужин.

Они сидели у камина, пили вино, ели жареное мясо.

Лейбниц постарел. Сильно. Морщины стали глубже, руки дрожали, глаза потускнели. Но когда он смотрел на гостя, в них загорался всё тот же огонь.

— Рассказывайте, — потребовал он. — Где были? Что видели?

— Везде, — ответил он. — Италия, Греция, Турция. Потом обратно через Германию. Смотрел, как люди живут.

— И как?

— По-разному. Везде по-разному. Но в одном похожи.

— В чём?

Он подумал.

— Все хотят, чтобы их оставили в покое. Но никто не хочет оставлять в покое других.

Лейбниц усмехнулся.

— Философ. Вы стали философом.

— Я всегда им был. Просто раньше не с кем было говорить.

Они проговорили всю ночь.

Лейбниц расспрашивал о виденных землях, о народах, о

языках. Он отвечал подробно, с деталями, которых не найти в книгах. Иногда учёный вскакивал, бежал к столу, записывал, потом возвращался и требовал продолжения.

— А монголы? Вы видели монголов? А империю инков? А Византию до падения?

— Видел. Всё видел.

— И какая она была? Византия? Я столько читал, но...

— Она была красивая, — сказал он. — И очень усталая.

Как человек, который слишком долго живёт.

Лейбниц посмотрел на него внимательно.

— Вы о ней или о себе?

Он усмехнулся.

— Обо всех сразу.

Под утро Лейбниц устал. Сидел в кресле, прикрыв глаза, но всё ещё задавал вопросы.

— А что вы пишете? — спросил он вдруг, кивая на сумку.

— Я заметил, вы всё время что-то записываете.

Он достал дневник. Протянул учёному.

— Вот.

Лейбниц взял книгу, раскрыл наугад, прочитал вслух:

"Сегодня видел, как старик учил внука ловить рыбу. У внука не получалось. Старик не злился. Терпеливо показывал снова. Я вспомнил, что меня никто не учил. Я просто делал. Может, поэтому у меня ничего не получалось с людьми."

Лейбниц поднял глаза.

— Это... вы о себе?

— О старике.

— Нет, — учёный покачал головой. — Это вы о себе. И о нём. Обо всех сразу, как вы любите.

Он промолчал.

Лейбниц полистал дальше.

"В Константинополе мальчик спросил, кто я. Я сказал — никто. Он не поверил. Дети всегда чувствуют, когда им врут. Я не врул. Но он чувствовал — я не никто. Я слишком много."

— Слишком много, — повторил Лейбниц. — Хорошо сказано. Можно я это запишу?

— Это уже записано.

— В вашем дневнике. А я хочу в свой.

Он кивнул.

Лейбниц достал свой дневник и аккуратным почерком вывел: *"Слишком много. О себе. О мире. О времени."*

— Вы меня испортите, — сказал он.

— Надеюсь, — ответил Лейбниц.

Днём они спали. Вечером снова говорили.

На этот раз вопросы задавал он.

— Вы много знаете, — сказал он. — Про звёзды, про числа, про то, как устроен мир. Откуда?

— Из книг, — ответил Лейбниц. — Из опытов. Из разговоров с умными людьми.

— А книги откуда?

— Из других книг. И из наблюдений.

— А первые книги? Откуда взялись первые?

Лейбниц задумался.

— Из головы, наверное. Кто-то первый посмотрел на мир и попытался его объяснить.

— Я видел первых, — сказал он. — Они объясняли мир духами. В каждой кочке, в каждом дереве — дух.

— Это была их правда.

— А ваша правда — лучше?

Лейбниц улыбнулся.

— Моя правда — точнее. Я могу предсказать движение звезды за сто лет вперёд. А ваш шаман — нет.

— Зато мой шаман мог вылечить головную боль заговором.

— Плацебо, — сказал Лейбниц. — Это тоже работает. Но я могу объяснить, почему работает.

Он посмотрел на учёного долго. Потом сказал:

— Вы первый, кто объясняет. Все остальные просто верили или не верили.

— А вы? Вы верите?

— Я знаю. Это хуже.

Лейбниц кивнул. Он понял.

Они проговорили три дня.

На четвёртый день Лейбниц слег. Сердце. Врач сказал — покой, волнения нельзя.

— Ерунда, — сказал Лейбниц, лёжа в постели. — Я старый. Сердце устало. Ничего не сделаешь.

Он сидел рядом, держал его за руку.

— Я видел много смертей, — сказал он. — Ваша будет не самой лёгкой.

— Спасибо, утешил, — усмехнулся Лейбниц.

— Я не утешаю. Я говорю правду.

— За это я вас и полюбил. Вы никогда не врёте.

— Вру, — сказал он. — Иногда вру. Чтобы не ранить.

— А сейчас?

— Сейчас нет.

Лейбниц кивнул. Закрыв глаза. Открыл снова.

— Оставайтесь до конца, — попросил он.

— Останусь.

Он остался на две недели.

Сидел у постели, менял повязки, поил водой, читал вслух, когда Лейбниц просил. Иногда учёный бредил, говорил на латыни, спорил с Ньютоном, доказывал теоремы.

Иногда приходил в себя и спрашивал:

— Вы здесь?

— Здесь.

— Хорошо.

Потом снова проваливался в сон.

В последний день Лейбниц открыл глаза и сказал чётко, ясно:

— Я хочу, чтобы вы кое-что сделали.

— Что?

— Запишите меня. В свой дневник. Чтобы я остался.

— Вы останетесь. В книгах, в теоремах.

— Это не то. Я хочу остаться у вас. В вашей памяти. Вы помните всё. Значит, я буду жить, пока вы помните.

Он посмотрел на учёного долго. Очень долго.

— Хорошо, — сказал он. — Запишу.

Лейбниц улыбнулся. И закрыл глаза.

Утром он не проснулся.

Он сидел у тела до вечера.

Потом пришли слуги, забрали, начали готовить к похоронам. Он не мешал. Сидел в кресле у камина и смотрел на огонь.

В сумке лежал дневник. Он достал его, раскрыл на чистой странице, обмакнул перо.

И замер.

Как записать человека, который стал первым другом за тысячелетия?

Он сидел долго. Потом написал:

"Лейбниц умер. Он был учёный. Он не боялся меня. Он задавал вопросы и записывал ответы. Он сказал, что я — исторический источник. Наверное, он был прав. Но для меня он был — друг.

Я буду помнить его всегда. Как мать. Как проказённых. Как всех, кого помню.

Это единственное, что я могу дать — память.

Спи спокойно, Готфрид. Ты заслужил."

Он закрыл дневник, убрал в сумку. Встал, посмотрел на

кресло, где ещё вчера сидел живой человек.

— Прощай, — сказал он.

Он вышел в ночь.

Ганновер остался за спиной — тёмный, тихий, равнодушный к смерти очередного старика. Дождь кончился, ветер разогнал тучи, на небе выпали звёзды. Он шёл по пустой дороге и смотрел на них.

Где-то там, среди этих точек, Лейбниц видел законы движения. Вычислил, объяснил, записал.

— Я тоже записал, — сказал он звёздам. — Тебя.

Звёзды молчали. Им было всё равно.

Дорога до гор заняла три недели.

Он не спешил. Ночевал в деревнях, помогал по хозяйству, иногда задерживался на пару дней, если люди просили. Но внутри всё время чувствовал — надо вернуться. Положить книгу. Закреть историю.

Когда впереди показались знакомые склоны, он ускорил шаг.

Пещера встретила его тишиной.

Он стоял на пороге, привыкая к полумраку после солнечного света. Кристаллы горели своим обычным холодным огнём. Озеро дышало глубиной. Всё было так же, как он оставил. Словно не прошло больше десяти лет.

Он прошёл к дальнему залу, туда, где хранились дневники.

Их было мало.

Всего три книги за тысячи лет.

Он подошёл к каменной полке, провёл рукой по корешкам. Первая — про палеолит. Вторая — про неолит и античность. Третья — про чуму и прокажённых. Тонкие, жалкие по сравнению с тем, сколько он помнил.

— Мало, — сказал он вслух. — Стыдно мало.

Кристаллы молчали, но в их гранях ему почудился укор.

Он сел на камень у озера, достал из сумки дневник, который вёл в путешествиях. Тот самый, с записями о Вольтере, о Париже, о дорогах. И отдельно — толстая тетрадь, куда он переписывал всё, что касалось Лейбница.

Три месяца он писал.

Каждый день садился у озера, при свете кристаллов выводил буквы. Вспоминал каждую фразу, каждый жест, каждую улыбку. Иногда останавливался, смотрел в воду, видел там своё отражение.

— Ты стал другим, — говорил он отражению. — Раньше ты не писал книг про друзей.

Отражение молчало.

Когда книга была готова, он встал и пошёл искать для неё место.

Не на полку, где лежали остальные. Куда-то особенное.

Он бродил по залу, смотрел на кристаллы, на игру света, на тени. И вдруг увидел.

В дальнем углу, куда он раньше не заходил, стоял камень. Не похожий на другие. Плоский, ровный, будто специально

отёсанный природой. И главное — на него идеально падали лучи, отражённые от сотен кристаллов вокруг. Они собирались в одной точке, создавая сияние, похожее на свет свечи в храме.

Он подошёл, положил руку на камень. Тёплый.

— Здесь, — сказал он.

Положил книгу на камень. Отступил на шаг. Посмотрел.

Книга лежала в центре светового пятна, и казалось, что она светится изнутри. Кристаллы отражались в буквах на обложке, делая их живыми.

— Это тебе, Готфрид, — сказал он. — Ты заслужил отдельное место.

Кристаллы вспыхнули ярче. Или ему показалось?

Он посидел у камня до вечера.

Потом вернулся к озеру, лёг на плоский камень, закрыл глаза. Думал о Лейбнице, о будущем, о том, что будет дальше.

А дальше — мир.

Мир, в котором ещё столько всего, что стоило увидеть и записать.

Он встал, подхватил сумку, проверил, на месте ли дневник. На месте.

— Я вернусь, — сказал он кристаллам.

Вышел из пещеры, зажмурился от солнца и пошёл вниз, в долину.

Ноги несли сами — туда, где были люди, где шумели го-

рода, где жизнь кипела так же быстро, как тысячи лет назад. Только теперь он знал: среди этого кипения есть те, с кем можно говорить.

Не дружить — говорить.

До Парижа было далеко. Через горы, через леса, через деревни, которые он не запоминал. Он шёл и писал на ходу — садился на обочине, доставал дневник, записывал всё, что видел.

"Сегодня видел, как парень украл яблоко. Его поймали и били. Я вспомнил, как в палеолите за воровство убивали. Прогресс."

"В трактире спорили о короле. Одни говорили — хороший, другие — плохой. Я молчал. Я видел королей. Они все одинаковые."

"Девочка продавала цветы. Я купил один. Она улыбнулась. Я улыбнулся в ответ. Давно не улыбался просто так."

Дорога тянулась, как всегда. Бесконечная. Но теперь в конце её был кто-то, кого стоило увидеть.

Париж встретил его шумом и вонью.

Он уже привык к городам, но Париж был особенным. Здесь кричали громче, смеялись звонче, пахло резче. Идеальное место для человека, который любил поговорить.

Вольтер жил не в Париже — в Фернее, подальше от королевского гнева. Но слухи о нём долетали всюду. Измор нашёл его через знакомых знакомых — тех, кто знал того, кто знал того, кто переписывался с философом.

— Вы хотите увидеть господина Вольтера? — переспросил тощий секретарь, разглядывая его с сомнением. — Он не принимает всех подряд.

— Скажите, что к нему пришёл человек, который видел то, о чём он пишет. Не читал — видел.

Секретарь пожал плечами, но ушёл докладывать.

Вернулся через пять минут.

— Следуйте за мной.

Вольтер сидел в кресле у камина, укутанный в плед. Маленький, сухой, с живыми глазами на морщинистом лице. Рядом на столике дымилась чашка, лежала раскрытая книга.

— Садитесь, — сказал он, не предлагая руки. — Мой секретарь сказал, вы видели историю своими глазами. Это метафора?

— Нет.

Вольтер прищурился.

— Сколько вам лет?

— Много.

— Конкретнее.

— Около пятнадцати тысяч. Может, больше. Я сбился со счёта после первой тысячи.

Вольтер молчал секунду. Потом улыбнулся.

— Забавно. Обычно ко мне приходят с метафорами. Вы первый, кто пришёл с буквальным смыслом. Чаю?

Они проговорили весь вечер.

Вольтер спрашивал жадно, но не как Лейбниц — не с тре-

петом учёного, а с любопытством циника. Ему было интересно не "как это было", а "как это вписывается в его теорию о человеческой глупости".

— Вы видели египетские пирамиды? — спросил он.

— Видел. Даже помню, как их строили.

— И как? Фараоны были великими правителями?

— Они были людьми, которые заставляли других людей таскать камни. Очень много камней.

Вольтер хмыкнул.

— А Александр Македонский? Гений или безумец?

— И то и другое. Как все, кто много воевал.

— А Иисус? Вы его видели?

— Нет. Но видел тех, кто его выдумал.

Вольтер откинулся в кресле. Глаза горели.

— Вот это уже интересно. Расскажите.

— Они были обычными людьми. Уставшими от римлян, от бедности, от безнадёжности. Им нужна была надежда. Они её придумали.

— И вы хотите сказать, что никакого чуда не было?

— Я хочу сказать, что чудо — это когда люди верят. А верят они всегда в то, что им нужно.

Вольтер засмеялся — сухо, каркаяюще.

— Вы опасный человек. Если бы церковь знала, что вы существуете, вас бы сожгли.

— Меня уже жгли. Не помогает.

Вольтер посмотрел на него долго. Потом кивнул.

— Верю.

Они встречались три раза.

Вольтер задавал вопросы, записывал ответы, иногда спорил до хрипоты. Его интересовало всё: религия, власть, войны, любовь. Измор отвечал спокойно, без эмоций. Он уже не удивлялся вопросам — за тысячелетия их накопилось много.

— Вы не устали? — спросил Вольтер в последний вечер.

— От чего?

— От всего. От людей, от времени, от себя.

Измор подумал.

— Иногда. Но потом нахожу того, с кем можно поговорить. И становится легче.

— Я польщён, — усмехнулся Вольтер. — Значит, я в компании Лейбница?

— Вы в другой компании.

— Хуже или лучше?

— Другая.

Вольтер кивнул. Ему хватило.

Они попрощались у ворот.

— Если выживу — напишу о вас, — сказал Вольтер. —

Но никто не поверит.

— Я знаю.

— Зачем тогда приходите?

Измор посмотрел на него долго. Потом ответил:

— Чтобы вы знали. Вы думаете, что всё понимаете про людей. Я пришёл сказать: да, понимаете. Но это ничего не

меняет.

Вольтер усмехнулся.

— Вы циник почище меня.

— Я свидетель. Это хуже.

Он повернулся и пошёл прочь.

Вольтер смотрел ему вслед, пока фигура не скрылась за поворотом.

— Чёрт возьми, — сказал он вслух. — А ведь не врёт.

Он ушёл от Вольтера на восток.

Не потому что планировал — просто ноги понесли. Через Альпы, через перевалы, где ветер сдувал с троп, через Италию, где всё ещё пахло Римом, хотя Рима уже не было.

В Италии он задержался.

Смотрел на развалины, которые помнил целыми. Сидел в Колизее, где когда-то убивал львов случайным касанием. Гладил камни, и камни были тёплыми от солнца.

— Я помню тебя, — говорил он. — Ты стоял, когда люди кричали. Теперь ты молчишь.

Камни молчали. Как всегда.

Он писал в дневнике. Много. Подробно.

"Колизей. Здесь я убил галла. Не хотел. Просто коснулся. Толпа орала. Я стоял и смотрел на руки. Они были в крови. Они всегда в крови, когда я воскресаю.

Сейчас здесь тихо. Туристы (новое слово) ходят, фотографируются. Не знают, что под их ногами — кости. Мои в том числе."

Потом была Австрия. Вена.

Он слушал музыку в концертных залах, сидел в трактирах, смотрел на людей. Здесь говорили на немецком, который он знал ещё со времён Лейбница. Здесь пахло кофе и выпечкой, а не кровью и потом.

Он почти расслабился.

Но в воздухе уже чувствовалось что-то. Напряжение. Люди говорили о войне, о корсиканце, о том, что мир скоро перевернётся.

Он слушал и молчал.

Он видел таких "корсиканцев" раньше. Александр, Цезарь, Аттила, Чингисхан. Все одинаковые. Приходят, ломают, умирают. Потом их внуки пишут книги о том, какие они были великие.

— Этот тоже сломается, — сказал он однажды в трактире.

Соседи замолчали, посмотрели на него.

— Ты чего сказал? — спросил один.

— Ничего. Я вообще молчал.

Он допил пиво и ушёл.

В 1812 году он был в России.

Не потому что хотел — просто шёл, куда глаза глядят. А глаза глядели на восток, как всегда.

Зимой он замёрз впервые за много лет. Россия была холоднее, чем он помнил. Или он просто отвык? Он сидел в избе, грелся у печи, слушал, как мужики перешёптываются о войне.

— Француз идёт, — говорили они. — Сам Бонапарт ведёт. Он кивал. Он знал.

— Побьём, — говорили мужики. — Русских не победить.

Он молчал. Он видел, как "побивали" других. И те, кого "побивали", тоже думали, что их не победить.

Ничего. Всё проходит.

Когда французы вошли в Москву, он был там.

Сидел на крыльце брошенного дома, смотрел на солдат, которые грабили город, пили, насиловали, молились, плакали. Вся человеческая природа в одном флаконе.

Он не вмешивался. Зачем? Они всё равно умрут. Через месяц, через год, через десять лет — неважно.

Пожар Москвы он смотрел со стороны. Горело красиво. Языки пламени лизали небо, искры летели выше колоколен, жар чувствовался за версту.

— Красиво, — сказал кто-то рядом.

Он обернулся. Молодой офицер, француз, с обожжённым лицом, смотрел на пожар и улыбался.

— Вы тоже любуетесь?

— Я смотрю, — ответил он.

— Это конец, — сказал офицер. — Мы проиграли. Но это красиво.

Он посмотрел на офицера долго. Потом сказал:

— Всё пройдёт. И вы, и я, и этот пожар. Останется только земля.

Офицер посмотрел на него, хотел что-то сказать, но пере-

думал. Отвернулся и пошёл прочь.

Он остался сидеть.

Он не пошёл за армией Наполеона, когда та отступала. Зачем? Он знал, чем кончится. Тысячи трупов, замёрзших на дороге. Волки, пирующие на человечине. Крестьяне, добивающие оставших.

Он видел это сотни раз.

Но через несколько лет, когда Наполеон уже сидел на острове посреди океана, он подумал:

— Надо сходить. Посмотреть.

Это было не любопытство. Это была привычка. Видеть финал.

Он плыл на корабле два месяца.

Южная Атлантика встретила его бесконечной синевой и скукой. Матросы косились на странного пассажира, который платил золотом и почти не говорил. Капитан пытался расспрашивать, но быстро понял: бесполезно.

— Кто вы такой? — спросил он однажды.

— Путешественник.

— На остров Святой Елены? Там только ссыльные и гарнизон. Ничего интересного.

— Там человек, — ответил он. — Хочу посмотреть.

Капитан пожал плечами и отстал.

Остров оказался маленьким.

Скалы, ветер, несколько домиков, гарнизон английских солдат. И один дом, окружённый часовыми, где жил человек,

который когда-то заставил дрожать всю Европу.

Он пришёл к коменданту, показал бумаги (поддельные, но хорошие), сказал, что учёный, хочет поговорить с пленником для науки. Комендант, скучающий на этом клочке земли, махнул рукой:

— Валяйте. Только недолго. И с ним не стоваривайтесь — всё равно не сбежит.

Он вошёл в дом.

Внутри было темно, сыро, пахло лекарствами и тоской. У камина, укутанный в плед, сидел маленький человек с бледным лицом и усталыми глазами. Живот выпирал, ноги распухли, волосы поредели.

Ничего от того полководца, чей портрет он видел в Европе.

— Кто вы? — спросил человек на французском. Голос был тихий, но в нём ещё чувствовалась привычка приказывать.

— Путешественник, — ответил он. — Хотел посмотреть на вас.

Наполеон усмехнулся.

— Смотреть? Как на зверя в клетке?

— Как на человека.

Наполеон посмотрел на него внимательнее.

— Вы не похожи на любопытного. Слишком спокойны. Слишком... стары глазами.

— Я много видел.

— Сколько вам лет?

— Больше, чем вам. Намного больше.

Наполеон хмыкнул. Жестом указал на стул.

— Садитесь. Раз пришли — поговорим.

Он сел. Смотрел на императора. Молчал.

— Ну? — спросил Наполеон. — О чём вы хотите спросить? О битвах? О победах? О том, как я дошёл до этого?

— Нет. Я видел битвы. Много.

— Тогда о чём?

— О том, зачем.

Наполеон прищурился.

— Зачем я воевал? Затем, что Франция... затем, что я должен был... — Он запнулся. — Это сложно объяснить.

— Попробуйте.

Наполеон помолчал. Потом заговорил, глядя в огонь:

— Я хотел величия. Не для себя — для страны. Для идеи. Европа должна была быть единой. Под моим началом. Законы, порядок, прогресс. Всё, что я делал — для этого.

— И что?

— И вот, — Наполеон обвёл рукой комнату. — Остров. Англичане. Смерть через год, максимум два. Врачи говорят — желудок. А на самом деле — тоска.

Он слушал. Потом сказал:

— Я видел Александра. Он тоже хотел величия. Умер в Вавилоне, пьяный, в тридцать три года. Цезаря видел. Тоже хотели величия. Убили в сенате. Чингисхана видел. Упал с

лошади и умер. Аттилу — умер в свадебную ночь.

Наполеон смотрел на него, не мигая.

— Вы их видели? Лично?

— Да.

— Это правда? Вы не шутите?

— Я не шучу никогда.

Наполеон откинулся в кресле. Долго молчал. Потом спросил:

— И что? Что вы хотите сказать? Что я — как они? Что всё это уже было?

— Да. Было. И будет после вас.

— Вы жестоки.

— Я свидетель.

Они говорили до вечера.

Наполеон спрашивал о других завоевателях. О том, как они жили, как умирали, что чувствовали в конце. Он отвечал. Спокойно, без прикрас.

— Значит, все умирают одинаково? — спросил Наполеон.

— Почти. Кто-то в постели, кто-то на поле боя, кто-то от яда. Но внутри — одинаково. Пустота и вопрос: "Зачем я это делал?"

— И вы знаете ответ?

— Нет. Я только знаю, что вопроса никто не избежал.

Наполеон усмехнулся.

— Вы пришли, чтобы сказать мне это? Что я зря потратил жизнь?

— Я пришёл посмотреть. И записать.

— Записать? Вы писатель?

— Нет. Я просто записываю. Для себя. Чтобы помнить.

Наполеон посмотрел на его сумку, на дневник, который тот доставал во время разговора.

— Можно взглянуть?

Он протянул дневник.

Наполеон полистал. Увидел записи о Лейбнице, о Вольтере, о прокажённых, о чуме. Поднял глаза.

— Вы действительно видели всё это?

— Да.

— И до сих пор живы?

— Да.

— Это... проклятие?

— Я не знаю. Я просто есть.

Наполеон вернул дневник. Долго смотрел на огонь.

— Знаете, — сказал он тихо. — Когда я был на вершине, мне казалось, что я бессмертен. Что моё имя останется навсегда. Что я — особенный.

— Вы особенный, — сказал он. — Как все.

— Что это значит?

— Каждый человек — особенный. Для себя. Для своих близких. А для истории — просто имя в списке. Я видел этот список. Он очень длинный.

Наполеон молчал.

— И в чём была твоя мотивация? — спросил он. — Тогда,

в начале?

Наполеон поднял глаза.

— Захватить мир. Стать великим.

— Ты такой же, как все, что были, — сказал он. — И такой же, как те, кто будут после тебя.

Наполеон усмехнулся. Горько.

— Спасибо, утешил.

— Я не утешаю. Я говорю правду.

— Правда... — Наполеон покачал головой. — Знаете, я думал, что творю историю. А оказывается, я просто в ней — строчка.

— Строчка, — согласился он. — Но некоторые строчки люди читают дольше.

Наполеон посмотрел на него долго. Потом кивнул.

— За это спасибо.

Он ушёл, когда стемнело.

Наполеон сидел в кресле, смотрел в огонь. Часовой у двери дремал.

Он вышел, подышал солёным воздухом, посмотрел на звёзды.

— Ещё один, — сказал он тихо. — Скоро умрёт.

И пошёл на корабль.

В каюте он достал дневник. Написал:

"Видел Наполеона. Маленький, больной, в кресле у камина. Говорили о величии. Он думал, что он особенный. Он не особенный. Он просто один из."

Я видел таких много. Все хотят оставить след. Все оставляют. Но следы смывает дождём, зарастают травой, забываются.

Только я помню.

Может, в этом моё проклятие — помнить всех, кто думал, что они бессмертны.

Спи спокойно, император. Ты был не хуже других. И не лучше."

Он закрыл дневник, убрал в сумку. Лёг на койку, закрыл глаза.

Корабль покачивало на волнах. Где-то кричали чайки. Где-то далеко, на острове, умирал человек, который хотел править миром.

А он плыл дальше.

Потому что мир не кончался. И в этом мире было ещё много того, что стоило записать.

Он плыл с острова Святой Елены два месяца.

Корабль нёс его на север, мимо Африки, мимо Испании, мимо знакомых берегов. Матросы уже привыкли к молчаливому пассажиру, который целыми днями сидел на палубе, смотрел на воду и что-то писал в своей потрёпанной книге.

— Учёный, — говорили они. — Наверное, книги пишет.

Он не поправлял.

В Европе было шумно.

Война кончилась, но люди ещё не успокоились. В трактирах спорили о Наполеоне, о новом порядке, о том, что будет

дальше. Он слушал и молчал. Он уже знал, что будет дальше. Будет то же, что и всегда.

Вена встретила его музыкой.

Она лилась из окон, из трактиров, из концертных залов. Люди говорили о Бетховене — гении, который оглох, но продолжает писать так, что слышат все.

— Вы слышали его новую симфонию? — спрашивали друг друга горожане. — Это гениально! Это невозможно! Как можно писать такое, если не слышишь?

Он слушал и думал: "Я тоже не слышу многого. Но я помню всё".

Он нашёл дом Бетховена не сразу.

Композитор жил в пригороде, в маленьком доме с запущенным садом. Соседи говорили, что он злой, что кричит на слуг, что никого не пускает на порог.

Он постучал.

Дверь открыла пожилая женщина — экономка. Посмотрела на него с подозрением.

— Вы кто?

— Путешественник. Хочу увидеть господина Бетховена.

— Он никого не принимает. Он работает.

— Передайте, что к нему пришёл человек, который слышал музыку тысячелетий. Без слуха.

Экономка хмыкнула, но дверь закрыла.

Он ждал на крыльце час. Потом два. Уже хотел уходить, когда дверь снова открылась.

— Заходите, — буркнула экономка. — Но если будет буря — вышвырну.

Он вошёл в комнату.

Бетховен сидел за столом, заваленным нотами. Всклоченный, злой, с красными глазами. Перед ним стояло несколько слуховых трубок — разных форм и размеров, бесполезных, но он всё равно тянулся к ним, когда говорил.

— Кто вы? — заорал он (он всегда орал, потому что не слышал своего голоса). — Зачем пришли?

Он подошёл ближе. Сел напротив.

— Я хочу послушать вашу музыку, — сказал он громко и чётко, глядя прямо в глаза.

Бетховен приставил трубку к уху.

— Что?

— ВАШУ МУЗЫКУ. ХОЧУ ПОСЛУШАТЬ.

Бетховен отнял трубку. Посмотрел на него долго.

— Вы не из этих... не из критиков?

— Нет.

— Не из поклонников, которые лезут в душу?

— Нет.

— А кто?

Он подумал. Потом сказал:

— Я тот, кто помнит. Всё. Слушаю вашу музыку — и запоминаю. Навсегда.

Бетховен усмехнулся. Зло.

— Навсегда ничего не бывает. Мои симфонии тоже забу-

дут.

— Я не забуду.

Композитор смотрел на него долго. Очень долго. Потом махнул рукой:

— Садитесь. Слушайте.

Он слушал три дня.

Бетховен играл ему свои сонаты, свои симфонии в переложении для фортепиано, свои черновики, обрывки, наброски. Иногда останавливался, злился, рвал бумагу, начинал заново.

— Не слышу! — орал он. — Не слышу, как это звучит на самом деле! Только в голове!

— В голове — главное, — отвечал он. — Я тоже многое слышу только в голове. Воспоминания.

Бетховен смотрел на него с подозрением.

— Вы странный.

— Я знаю.

В последний день, перед уходом, он спросил:

— О чём ваша музыка?

Бетховен нахмурился.

— О чём? Ни о чём. Просто звуки.

— Неправда. Звуки не просто так. Они о чём-то.

Бетховен молчал долго. Потом сказал:

— О том, что красиво. Даже когда больно. Даже когда одиноко. Даже когда глух. Красота остаётся.

Он кивнул.

— Я запомню.

— Запоминайте, — буркнул Бетховен. — Вам не трудно, вы вон какой... памятливым.

Он усмехнулся.

— Это правда.

Он ушёл, когда стемнело.

На улице достал дневник, написал:

"Бетховен. Глухой. Злой. Одинокий. Но музыка, которую он пишет, — чистая. Без крови, без власти, без желания оставить след. Просто красота.

Я слышал много музыки за тысячелетия. Эту запомню отдельно.

Он сказал: красота остаётся, даже когда больно. Я проверю."

Он закрыл дневник, убрал в сумку.

И пошёл дальше.

Он ушёл из Вены и просто пошёл.

Без плана, без цели. Ноги несли сами, а он позволял им нести. Через города, через страны, через границы, которые менялись быстрее, чем он успевал их запоминать.

Германия. Дания. Швеция. Потом обратно, на юг, потому что захотелось тепла.

Он жил как перелётная птица. Весна и лето — на севере, осень и зима — на юге. Иногда задерживался в одном месте на год, если нравилось. Иногда уходил через неделю.

Что он делал все это время?

Писал.

Дневник стал его тенью. Он записывал всё: лица, разговоры, запахи, цвета неба перед грозой. Иногда просто сидел на обочине и описывал, как муравей тащит соломинку.

"Муравей тащит соломинку больше себя. Упадёт — встанет, снова потащит. Как я. Только он умрёт через месяц, а я — никогда."

Помогал.

В деревнях ему всегда находилась работа. Починить крышу, нарубить дров, принести воды. Платили едой и ночлегом. Иногда — деньгами, но деньги он раздавал нищим.

Смотрел.

За такой короткий срок мир изменился сильнее, чем за предыдущую тысячу. Поезда, пароходы, телеграфы. Люди стали быстрее, нетерпеливее. Им всегда было мало времени.

Он смотрел на них и думал: "Вы спешите умереть. А я никуда не спешу".

Однажды, в конце сороковых, он поймал себя на мысли, что давно не вспоминал имена.

Нет, он помнил всё. Но *вспоминать* — перестал.

Он сидел у костра, смотрел на огонь и вдруг понял: Лейбниц, Вольтер, Бетховен — они стали просто словами. Тёплыми, важными, но далёкими. Как будто это было не с ним.

— Плохо, — сказал он вслух. — Нельзя забывать.

Он достал дневник, перечитал старые записи. И понял, что пора возвращаться.

Не домой — к людям. К тем, кто заставит его снова чувствовать.

Кто-то в трактире обронил имя: Достоевский.

— Ссылный, — говорили. — Из Сибири вернулся. Теперь в Петербурге живёт, книги пишет. Тяжёлые, но умные.

Он наострил уши.

— О чём пишет?

— О душе, — ответил собеседник. — О страдании. О Боге. Тяжёлый человек, говорят. Сам на каторге был, знает, о чём говорит.

Он допил чай, собрал сумку и пошёл на север.

Петербург встретил его мокрым снегом и серым небом.

Город был молодой по меркам Измора — всего двести лет, смешной возраст. Но уже успел надыхаться тоской. Она висела в воздухе, смешивалась с туманом, оседала на лицах прохожих.

Он шёл по набережной, смотрел на воду, вспоминал, как здесь было при Петре. Тогда тут пахло болотом и смертью. Теперь пахло болотом и деньгами.

Достоевского он нашёл через книжную лавку.

— Фёдор Михайлович? — переспросил хозяин. — А вы кто будете?

— Знакомый. Из Сибири.

— Из Сибири? Он сам оттуда. Заходите, он часто здесь бывает. Вон его книги на полке.

Он взял одну, полистал. Тяжёлый текст. Много боли.

Много вопросов.

— Хорошо пишет, — сказал хозяин. — Тяжело, но хорошо. Правду пишет.

Он кивнул и купил книгу.

Они встретились через неделю в трактире.

Достоевский сидел в углу, пил чай, смотрел в окно. Измор узнал его сразу — по глазам. В них было то же, что у него самого. Не усталость — знание.

— Можно? — спросил он, подходя.

Достоевский поднял глаза, кивнул.

Он сел напротив. Молчал. Достоевский молчал тоже.

— Вы кто? — спросил наконец писатель.

— Читатель.

— Читали что-нибудь?

— Купил вчера. "Записки из Мёртвого дома".

Достоевский усмехнулся.

— И как?

— Вы знаете, о чём пишете.

— Откуда вам знать?

— Я тоже был в мёртвом доме. Только дольше.

Достоевский посмотрел на него внимательно. Очень внимательно.

— Что значит "дольше"?

— Я был в тюрьмах. Меня пытали. Меня жгли на кострах. Я видел каторгу. Не вашу — римскую, египетскую, вавилонскую. Все одинаковые.

Писатель молчал. Потом спросил тихо:

— Вы сумасшедший?

— Нет.

— Тогда кто?

— Свидетель.

Они проговорили до закрытия трактира.

Достоевский спрашивал жадно, нервно, иногда вскакивал, начинал ходить по комнате. Измор отвечал спокойно, ровно, без эмоций. Он уже знал этот танец.

— Вы хотите сказать, что видели всё? — переспросил Достоевский. — Лично?

— Да.

— И помните?

— Помню.

— Как можно помнить тысячи лет?

— А как можно забыть? Всё, что было с тобой, — остаётся. Я просто не умираю, чтобы забыть.

Достоевский остановился. Посмотрел на него долго.

— Вы — ходячее доказательство, — сказал он. — Всех моих идей.

— Каких идей?

— Что страдание не проходит. Что оно остаётся. Что человек может вынести всё, но цена этому — душа.

— Я не знаю про душу, — сказал Измор. — Я знаю про память.

— Это одно и то же.

Они встретились на следующий день. И через день. И через неделю.

Достоевский не мог остановиться. Он приносил рукописи, читал вслух, спрашивал: "Так бывает? Так люди чувствуют?" Измор слушал, кивал, иногда поправлял.

— Вы пишете, что каторжник мечтает о воле, — сказал он однажды. — А я видел каторжников, которые боялись воли. Они привыкли к клетке. Воля для них была страшнее.

Достоевский записывал дрожащей рукой.

— Гениально, — бормотал он. — Гениально! Я сам это чувствовал, но не мог выразить!

— Это не гениально. Это просто правда.

— Правда и есть гениальность.

Измор пожал плечами. Он не спорил.

Через месяц Достоевский спросил:

— Как вас зовут? Настоящее имя?

— Много имён. Люди называли по-разному.

— А вы сами? Как вы себя называете?

Измор задумался. Он давно не думал об этом. Для себя он был просто "я". Для людей — Кумай, Измор, тот-кто-встаёт.

— Последнее имя — Измор, — сказал он. — Так прозвали во время чумы.

Достоевский поморщился.

— Измор... Мор, смерть. Это не про вас. Вы не про смерть. Вы про... жизнь. Про то, что остаётся.

— Что остаётся?

— Память. Свет. То, что люди несут дальше.

Писатель помолчал, глядя на него. Потом сказал:

— Я буду звать вас Светов. Фёдор Светов.

— Почему Фёдор?

— Это моё имя. Я дарю вам его. Потому что вы — как я.

Только дольше живёте.

Измор — теперь Светов — посмотрел на него долго. Потом кивнул.

— Хорошо. Пусть будет Светов.

Они встречались почти каждый день.

Достоевский приходил в трактир с утра, занимал тот же угол, заказывал чай и ждал. Иногда ждал час, иногда два — но Светов всегда появлялся. Садился напротив, смотрел своими спокойными глазами и говорил:

— О чём сегодня?

— Обо всём, — отвечал Достоевский. — О Боге, о смерти, о России. О том, зачем мы вообще здесь.

— Это долгий разговор.

— У нас есть время.

И они говорили.

О Боге

— Вы верите в Бога? — спросил Достоевский как-то.

Светов подумал.

— Я видел много богов. Египетских, греческих, римских, скандинавских. Люди молились им, приносили жертвы, умирали за них. А боги умирали первыми.

— Значит, Бога нет?

— Я этого не сказал. Я сказал: боги, которых придумали люди, — умирают. А тот, кто не придуман... может, он есть. Я не знаю.

— Вы не знаете? После всего, что видели?

— Я знаю только одно: если Бог есть, он молчит. И я его понимаю.

Достоевский записывал, и рука его дрожала.

— Это в "Идиота" пойдёт, — бормотал он. — Князь Мышкин... он тоже молчит...

О страдании

— Вы страдали больше всех, — сказал Достоевский. —

Тысячи лет боли. Скажите: зачем?

— Нет "зачем". Просто есть.

— Но должен быть смысл! Страдание не может быть бессмысленным!

— Может. Я видел людей, которые страдали и умирали без всякого смысла. Просто потому что так сложилось.

Достоевский сжал кулаки.

— Тогда зачем жить?

— А зачем умирать? Живут не зачем. Живут потому что.

— Это не ответ.

— Это единственный ответ, который у меня есть.

Писатель молчал долго. Потом сказал тихо:

— Я не могу так. Мне нужен смысл.

— Тогда придумайте его. Люди всегда придумывают.

— Вы циник.

— Я свидетель. Это хуже.

О России

— Вы видели нашу страну? По-настоящему?

— Видел. Когда она была лесом. Когда пришли варяги.

Когда монголы жгли города. Когда Иван Грозный сходил с ума. Когда Пётр строил этот город на костях.

— И что вы скажете?

Светов посмотрел в окно на мокрый снег.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.